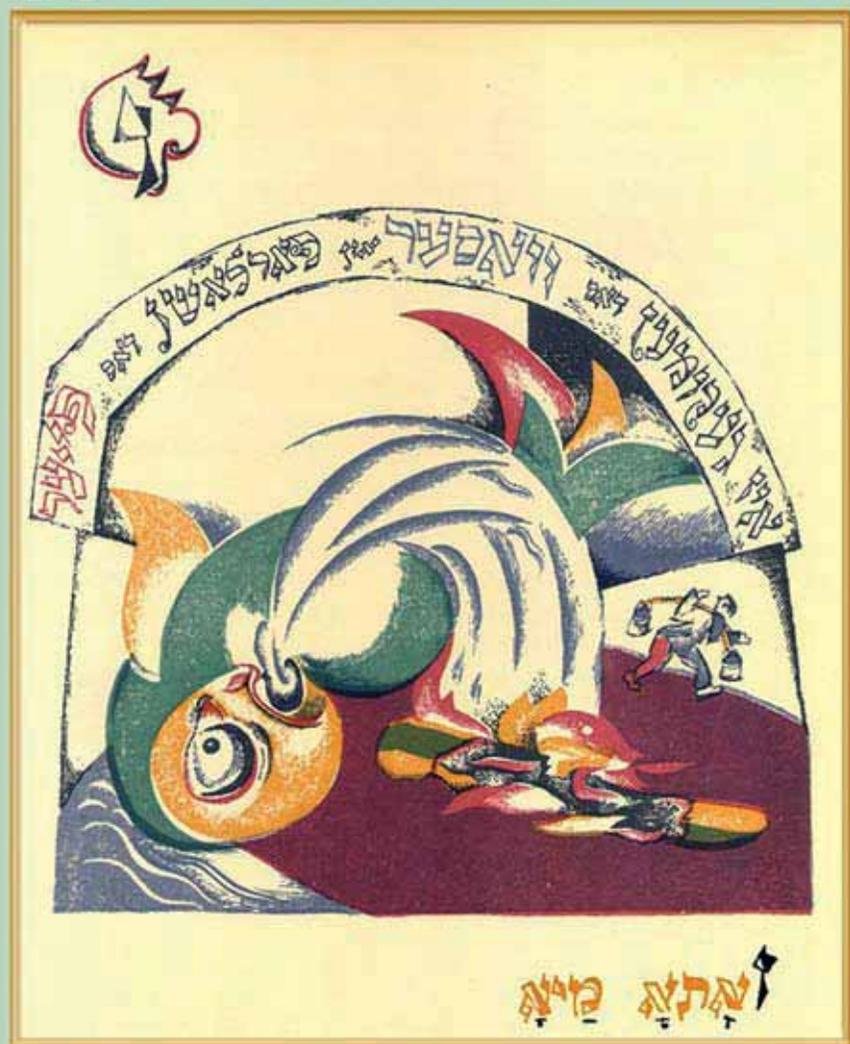


ДО и ПОСЛЕ



Литературный альманах **14' 2010**

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах



14' 2010

Руководитель проекта
ИОСИФ ВАРДИ

Редакционная коллегия:
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ (гл. редактор),
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,
КАРЛ АБРАГАМ,
ДАВИД ЯНОВСКИЙ.

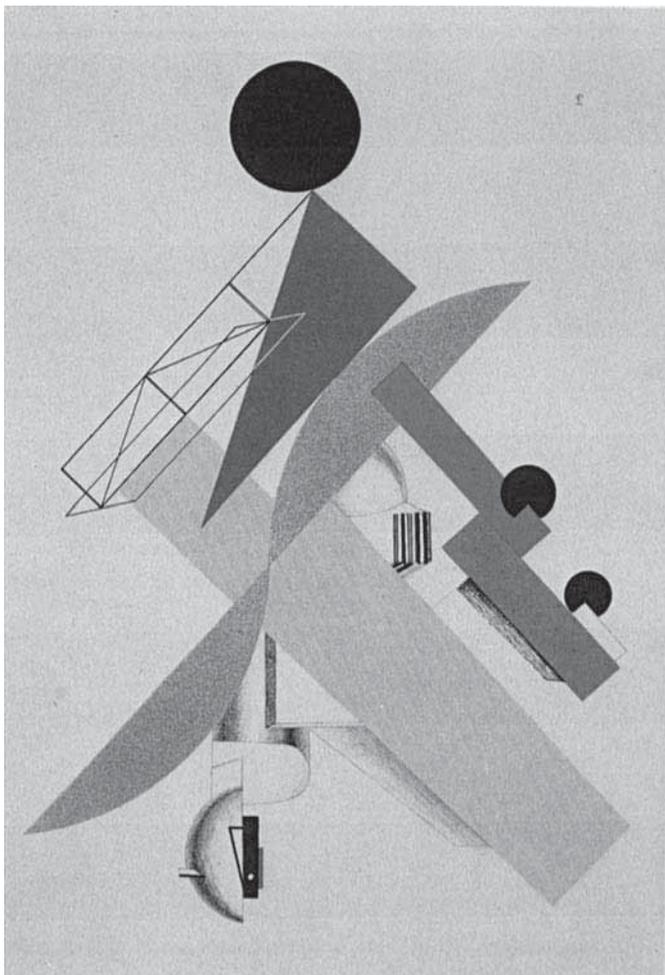
Макет и оформление
ИОСИФ МАЛКИЭЛЬ

Альманах иллюстрирован работами
ЭЛЬ ЛИСИЦКОГО
(см. статью на стр.152)

Произведения, представленные
на страницах Альманаха,
публикуются впервые.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка на
Альманах обязательна

БЕРЛИН, 2010.



АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

ПО ТУ СТОРОНУ ДОЖДЯ

Французские «Climat». Их любимый аромат волнует меня. Как не похож он на климат этого Города с постоянно висящим туманом. Где каждая ночь рисует акварель дождя, которым я пропитана насквозь. Скучно...

Мимо со вздохом проносятся ночные автобусы, выплёвывая запоздалых одиночек, таких же, как и я. Меня преследуют запахи, и погода стирает улыбку с лица.

Я брожу по ночному Городу в поисках себя – другой, счастливой... И пытаюсь отыскать там, по ту сторону дождя, нечто, давно утерянное... Город... Он так же одинок и хочет заговорить со мной... А монотонный дождь пропитал моё пальто, как печаль – душу... Слезы льются из глаз, или это – дождь? Не всё ли равно... Он копится в моём сердце, и оно превращает влагу в пламя, обжигающее грудь.

Иногда замирая, ветер оставляет деревья в униженных поклонах, графикой взрывающихся ночное небо, и Город в этот момент похож на огромного притаившегося зверя. Он манит, притягивает, но в то же время таит опасность. Гипнотизирует мокрыми улицами, освещёнными тусклым светом фонарей, где амбразуры тёмных окон только добавляют темноты и одиночества. Я останавливаюсь, прислоняюсь лбом к холодному стеклу телефонной будки, в котором, как в зеркале – моё дрожащее отражение. И это зеркало, словно часы, отсчитывающее Время: «Всё – течёт. Всё – меняется». Сквозь стекло я всматриваюсь в далёкие окна, в надежде увидеть за одним из них себя... И хочу вспомнить то забытое чувство, побуждающее к жизни, которой я разучилась радоваться. Я жду. Возможно, за одним из окон вспыхнет лампочка, за занавеской заплещут тени... и мир превратится в нечто невообразимое. Темно. А по стеклу струится холодная осень и что-то ещё... Душа просит поэзии. Только нужной рифмы – не найти.

НЕСЧАСТЛИВАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА

«Любовь – это величайший в жизни эксперимент, и те, кто живёт, не экспериментируя с энергией любви, никогда не узнают, что такое жизнь. Они останутся только на поверхности, не входя в её глубину»

Ошо (Чандра Мохан Раджниш, инд. философ)

Время – запутанная, как лабиринт, категория, проявляющаяся в различных формах. По протяжённости – молниеносная, равная мгновению, либо вовсе застывшая, словно застоявшаяся вода, в которой ничего не происходит, потому что в ней отсутствует жизнь. По ощущениям – безжалостно поглощающая настоящее, либо – мудрая, которая сохраняет память, но избавляет от всяческих иллюзий.

Воспоминания, смешанные и беспорядочные – тот же лабиринт. Их некому доверить, в них переплетено прошлое с настоящим.

Для этой женщины Время давно остановилось. Идя сквозь него, она не пыталась соединить разорванную нить времён, словно для неё умерла сама жизнь.

Как ни цинично это звучит, но качество женщин во многом определяется уровнем мужчин, которые их любили. Бывает женщина – актриса, женщина – музыкант. Но случается, женщина – женщина.

Именно такая, преклонного возраста, сидела за старинным бюро в дальней комнате квартиры, погружённой в полумрак. Только её лицо, бледное, с горящими, всё ещё молодыми, глазами, слабо освещала свеча. Ни отсутствие яркого света, ни глубоко прорезавшие лицо морщины не могли скрыть следов её красоты. Одета она была так, точно ожидала к званому ужину гостей. Длинное, расшитое жемчугом и бисером, шифоновое платье, давно вышедшее из моды. Туфли, прекрасно сохранившиеся, но не современные. Красивый, слоновой кости гребень украшал её тщательно уложенные, пепельные волосы. Тонкие запястья и сигарета в мундштуке дополняли портрет.

Одной рукой она придерживала крышку шкатулки. Обычно, в таких хранят драгоценности. В этой – были письма, которые могли бы стать сенсацией, вздумай она их опубликовать. Тем более, сейчас, спустя полвека. Письма Гения, в пору его любви к ней. Среди них были и те, которые она написала самой себе от его имени. И другие, не отправленные, которые она продолжала писать ему, когда его любовь прошла. Когда-то ГОРОД достаточно трепал их имена. Его, признанного гением ещё при жизни. И её, ставшую известной благодаря их роману, но столь легко забывтую, когда любовь закончилась.

Эта женщина знала, что великая любовь стоит великой жертвы, кото-

рую и принесла. «Я освобождаю себя от твоего покровительства и всяких обязательств», – написала она тогда. Теперь готова была освободиться от самой себя. Она перебирала письма, ощупывая взглядом каждое слово, любую запятую, таившие особый для неё смысл. Чувствовала исходящую от них энергетику, словно письма были написаны недавно. Застывая, превращалась на мгновение в зомби, как будто прочитанное поработало её волю, ум, рефлексy. Кружилась голова, в глазах плыл туман, но она не переставала поражаться тому, какую силу имеют над ней эти строки, тогда как их автор давным-давно умер. Впрочем, для неё он оставался живым. Перебирая письма, она заново перелистывала свою жизнь. Прочитав, сжигала, не желая, чтобы они стали достоянием посторонних.

*

...Помню, как увидел тебя впервые. Я сидел в баре и смотрел на тебя, танцующую. Меня потрясли твои руки, их пластика. Они жили, как бы отдельно от тебя, своей собственной жизнью. Мне захотелось написать твой портрет, я не удержался и, заскрипев карандашом по салфетке, тут же сделал набросок...

...Милая! Ты – само совершенство. О, какую чушь собачью я несу! Камин, почти потух, и я отправляюсь спать...

...Ты – моё вдохновение. Обнимаю тебя, дорогая. Своим дыханием хочу согреть твои ладони...

...Всё пишу и пишу тебя. По памяти. Гадкая осень. Слезающееся дождём окно. Скучно и холодно. Замерзая, кутаюсь в плед. Если бы ты увидела меня – пожалела бы своего гения...

...Обожаю, когда ты играешь, хотя, в сущности, музыку не люблю. Твоё волшебное очарование удивляет меня всё больше...

...Зябнут руки. Не могу писать. Мчусь к тебе. Что захватить? Запах зими?...

...Было удивительно хорошо вдвоём. Не пишется. Но, надо... И тебе не нужно спасать меня. Жизнь многомерна, у неё нет коротких путей...

...Ты сказала, что я – твой любимый деспот, укравший возможность быть счастливой. Ошибаешься, дорогая. Я – твоё всё...

...Каждый раз открываю тебя заново. И снова пишу тебя. Хочу со всем миром поделиться красотой, которая принадлежит только мне...

...Сегодня, вдруг, подумал, отчего не оформить наши отношения? Как ты полагаешь?...

...Ты, словно, девочка покраснела от обиды. Не выношу работать, спиной ощущая посторонний взгляд. Даже твой...

...Помнишь, как мы мчались в авто? Город звал нас в свою бесконечность. В окно врвались ароматы грядущего лета... Мы слушали скрип, пронсящих мимо фонарей и стоны асфальта...

...Помнишь, как после дождя мы кормили друг друга клубникой? До сих пор ощущаю твои клубнично-влажные губы...

... Природа – чудо... Раннее утро... Ты сонная шептала непристойности, потом окончательно проснулась, смеясь...

...Посылаю тебе очередную живопись. Возможно, когда-нибудь ты откроешь галерею великого Сумасшедшего...

...Ничего не могу с собою поделать. Чтобы не наговорить гадостей, уехал. Поверь, это не повод для ревности... Мне необходимо время и уединение...

...Ура – конец зиме! Но такое впечатление, что это только начало. Холодно. Сажу у камина и наблюдаю, как потрескивают поленья, охваченные огнём. Пью глинтвейн. Не пишется...

...Кажется весна всё же наступила. Вчера на глаза попала газета. Эти гнусные писаки утверждают, что я повторяюсь. Мерзавцы! Будь они прокляты! Что они понимают в модернизме, в новой манере письма? Я – на грани срыва... Ещё пишут, что ты – моя жертва. Ты думаешь так же? Посмотрим, что они «запоют», когда увидят мою новую работу?...

...Я вовсе не пропал... Ты же знаешь, как мне необходима свобода. Аб-со-лют-ная...

...Ну что? Успех ошеломляющий?! Потрясающе! Bravo! Я – Гений! И полон надежд. Гордишься мною, моя девочка?...

...Дорогая! Это не интуиция, а твои нестабильные мысли. Согласись, тебе присущи повышенная возбудимость в ожидании неперемнной катастрофы, и какое-то гипертрофированное чувство собственности. Я – свободен, запомни это...

...Всё удачно складывается. Признание на Родине. И этот, заманчивый контракт в Америке. Тебя с собою не зову. В последнее время ты относишься ко мне, словно к старой вещи, с которой не в состоянии расстаться. Рождество – без меня. Да, совсем позабыл – приобрёл для тебя апартаменты. Уверен, с твоим изумительным вкусом ты придашь им блеск...

...Куда-то исчезли искренность, непосредственность. Мы отдалились и спали – спина к спине. Почему точкой отсчёта стала моя поездка в Америку? По возвращении, уже ничего не было, как прежде. Ты не поняла, как мне необходимы новые ощущения. Они питают меня...

...Ну, что же... Ты – слишком непримирима, и твоя внешность находится в постоянном диссонансе с твоей категоричностью. А я не люблю, когда на меня давят... Думаю, нам необходим тайм-аут. Даже убеждён в этом...

... Ничего не изменилось, та же жизнь, полная механических движений, но рассеченная на «До» и «После»... Всё, как прежде... Те же улочки,

уютные кафе, где мы когда-то укрывались от ветра с мокрым снегом, приносимым с Атлантики. Только теперь без тебя...

... Живу по привычке. Машинально. Ловлю себя на мысли, что умру, если не узнаю: «Где ты? Что – ты?» Но мой пыл гаснет, словно спичка на ветру. Я испытываю отвращение к себе и ко всему...

...Все, что хотела бы сказать, доверяю лишь бумаге... Приснишься... Я – твоя тень, и буду любить тебя всегда...

...С любовью. И без... Кричу, но ты не слышишь... Умри же, любовь!...

...Ты, наконец, счастлив? Я не спрашиваю, счастлив ли с ней? Просто. Счастлив ли? Захлёбываюсь от боли и смеха над собой...

...Твой запах повсюду. Ужасаюсь, насколько ощущаю твоё присутствие... Твои картины расписаны моими слезами. За каждой женской фигурой угадываюсь я. Зачем?...

...Помнишь шорох песка под ногами? Я тогда подумала – вот оно, счастье. Стоило поверить, как всё растаяло. Когда? Я и не заметила...

...Боюсь открыть окно – ворвётся свежий воздух, а мне он не нужен. Не волнуйся, любимый! Я справлюсь...

...У тебя – снова другая. Другие... Понимаю... Это питает и вдохновляет...

...Анализировать? Я не могу абстрагироваться, взглянув на всё, как бы, со стороны. Лучше страдать...

...Помню, ты говорил, что влюблённые получают чувственное наслаждение даже от тишины. Я ненавижу тишину...

...Даже теперь, когда закончилась твоя любовь, этот удивительный обман, я помню...

...Как восхитительно – любить безнадежно. Жить, дыша тобою... Умирать и воскресать заново... Быть может, лишь единственный раз в жизни я смогла так сойти с ума...

...Наконец-то дождь... И вымокший город... И ты... Где-то...

...Жизнь, не замечая меня, неумолимо продолжается. Кажется – это сон...

...Твой смех унёс ветер... Ты не знаешь меня... Хочу, чтоб мир замер, чтобы дождь перестал, и ветер, удивившись, окаменел, оставив деревья в покое... Исчезнуть без следа...

*

Письмо за письмом женщина подносила к свече. Когда шкатулка опустела, на подносе выросла гора пепла. Разровняв его, она вывела на нём своё и его имена. Задув свечу, она встала и включила яркий свет, осветивший убогий достаток окружающего. Большая, с высокими сводами квартира, давно не знавшая ремонта, была почти пуста. Только на стенах – прикрытые тканью силуэты картин, которые охранял старый

чёрный рояль, дремавший в углу. Она подошла к зеркалу. Её не пугала собственная бледность. Она научилась не бояться, может быть только самую малость, как тогда, когда его не стало.

Кто сказал, что Время – лечит? Нет, Время лишь анестезиолог, помогающий забыть боль, очищающий болезненно-горькой правдой, но всё же лучшей, чем ложь. Он давно «ушёл», но был везде. Сотни раз твердивший, что свободен от жизни и смерти – свободой абсолютной, не знающей условностей и границ. И ради этой призрачной свободы, готовый доставить другому бесконечное счастье или боль. Он, игравший со временем, хранящем знание о Вечности. Вечности, растворившейся в нём.

– Я готова. Осталось немного. – Она продолжала говорить с ним вслух, точно он был рядом. – Потерпи, дорогой. Ты совсем не узнаешь меня – я так состарилась... Нет, это не возрастное – психическое. Тебя нет? Тебя?! Просто ты вышел в соседнюю комнату... Вот позову, и вернёшься... А, я? Счастлива, что «это» было...

Она шла по пустым комнатам, освобождая картины от тканей, и оставляла на них след пепла – его личный знак. Рассматривала, примеряя на себя, всех героинь, изображённых на них, восстанавливала в памяти, в какой период была написана та или иная. За каждой стояло нечто далёкое, интимное. Прошли годы, забылось её имя, но на всех картинах жила Любовь...

– Помнишь стук дождя по крыше? – снова обратилась она к нему. – И мы, босоногие, под дождём? А потом – шерстяной плед и аромат морского воздуха...

Ночью она спокойно спала. Ей приснилось, что он улыбается и протягивает к ней руку. Когда лучи солнца зажигали новый день, на её лице играла улыбка.

P.S.

Хозяин близлежащей булочной, обеспокоенный, что уже несколько дней не видел старую даму, много лет покупавшую у него круасаны к утреннему кофе, послал узнать о ней к консьержу. Тот, не менее встревоженный, обратился в полицию. Когда представители власти вскрыли квартиру, они нашли хозяйку мертвой. На стенах были обнаружены бесценные картины, принадлежащие кисти Мастера – национального Гения. Эта история наделала много шума и всколыхнула общество. Из глубин Времени вернулось забытое имя женщины, изображённой на многих из найденных картин, умершей в бедности и одиночестве. У её ног когда-то был этот ГОРОД. Картины были своеобразным дневником долгой любви и отчуждения. На последних уже было заметно, что ил-

люзия счастья развеялась. Картины, которые женщина завещала своему церковному приходу, были оценены в сотни миллионов. Однако, умерли священники, на чьё имя было составлено завещание. Откуда-то возникли её дальние родственники, которых она никогда не знала, получившие сорок процентов от продажной стоимости картин. Остальное – осталось ГОРОДУ.

Женщина, ради любви, способна на подвиг, на который никогда, ни при каких обстоятельствах, не способен ни один мужчина. Поставленная перед выбором между богатством и воспоминаниями о любви, испытывая крайнюю нужду, она поступила вопреки логике. Не продав ни единой картины, выбрала любовь.

АНАТОМИЯ ЧУВСТВ

(Глава 8-я из повести «Сёстры»; Главы 1-7 см. в Альманахах
«До и После», №№8-13)

Жизнь, как рояль. Клавиша – белая... Клавиша – чёрная... И у Марьяны, как у многих людей, были разные периоды. Но страстным натурам дана возможность возрождаться. Они не боятся начать всё заново. Вообще, жизнь людей состоит из игры, своеобразного кокетства, попыток казаться лучше. Мужчина... Женщина... Когда отношения между ними только зарождаются, неизбежны всевозможные «хитринки», безобидная неправда. Лишь прожив годы, расслабившись, люди становятся самими собой.

У Марьяны с Сашей не было этого резерва времени. За плечами – жизнь, которая была одним большим компромиссом. Его семейный опыт, отсутствие такового у неё, всё вместе, составило симбиоз того единого рецепта взаимоотношений, который подходил только им. Это не была пылкая, безрассудная любовь, которая посещает обычно в молодости, сжигающая и иссушающая. Это была любовь зрелых людей, безусловно, страстная, но с известной долей прагматизма.

Марьяна долго ждала и боялась новой любви. Было в этом нечто мистическое, почти нереальное. Похожее на какое-то тайное наслаждение, когда в уме, заранее, уже всё пережил. И когда вопреки опасениям – иллюзии сбываются.

- Я люблю тебя. – Она вдыхает его запах. Запах мужчины.
- Это я люблю тебя.
- Ты уверен?
- На все сто. Ты вкусно пахнешь.
- Да? Чем же?

– Горьким шоколадом. И ещё свежескошенной травой. Твой запах сводит меня с ума. Как же я тебя тогда вычислил?

– Как это? – смеётся она.

– До гениальности просто. На остановке, помнишь? Было снежно... И безумно красиво... Вдруг, ты. В ярко-рыжем берете и шарфе. Я и среагировал, как на светофор. Вот и всё. Иди ко мне...

– Издеваешься? Значит, как на светофор? – Она изображает гнев, но её тело и сердце отзываются на его ласку, как душа на прекрасную музыку.

– Я хочу остаться в этом мгновении. Nirvana. Как тихо, – шепчет она.

– Счастье всегда тихое. – Они замирают в объятиях, прислушиваясь к собственному дыханию.

– Мужчина?! И много ли было у Вас подобного счастья?

– Ты слышала о легенде, что каждый из нас когда-то был разделён на две части. И мы всю жизнь ищем свою половинку. Я тебя нашёл, и неважно, что было прежде. Улыбнись. Твоя улыбка – «выстрел» в сердце. Я сделаю всё, чтобы ты мною гордилась, – прошептал он.

– Сашенька, ты не выдумал меня?

– Выдумал. Ты и воплотилась.

– Боже! Как мне хорошо! Последнее время я, словно в чудесном сне – не хочется просыпаться. Верить? И мне очень страшно, что всё это может исчезнуть.

– Глупыш. Ты со мной и нечего бояться.

– Знаешь, в детстве папа покупал нам надувные шарики. К празднику. И он очень огорчался, что свои я отпускала в небо. А я помню то необъяснимое чувство свободы, когда шарики взмывали вверх. И сейчас чувствую так же. Мне о многом хотелось бы сказать, а я не могу. Трудно. Ты вернул мне саму себя.

Ей хотелось слиться с ним навек. Чтобы каждая частичка одного проникла в другого. Переживаемые чувства, тем не менее, не мешали ей наблюдать за собой как бы, со стороны – с каким-то любопытством исследовать собственное тело. Она хотела быть сдержаннее, но столь долго копившиеся в ней тепло и нежность рвались наружу и захлёстывали обоих. Она и не подозревала, что близость с мужчиной может давать ни с чем не сравнимое наслаждение. Только страх... Проклятый страх всё потерять не оставлял её.

– Марьяша! – Он снова возвращается к теме, которую она всячески избегает. – Что же ты не приглашаешь меня к себе?

– Есть причины. Я говорила. Зачем же ты опять? Надо немного подождать.

– Хорошо. Сколько?

– Ну не знаю. Немного.

– Чего ты боишься? Ты не доверяешь мне?

– Конечно, доверяю. Только после той, многолетней истории... Когда-нибудь я расскажу тебе всё. Не торопи меня. Десять лет назад я чуть не умерла. Была на краю бездны. Что удержало меня тогда? Не знаю... Наверное, родители. Боязнь причинить им ещё большую боль. Прошли годы, прежде чем я очнулась от того летаргического сна. И устала при-творяться, что я не я. С тобой – я словно на небе. Летаю. Я – твоё эхо.

– Ты выйдешь за меня?

– Да. Позже... Сейчас просто хочу ребёнка от любимого мужчины.

– Ты не уверена во мне? Или в себе?

– Уверена. Но не хочу пока связывать тебя сентиментальными узами. Пойми, для меня это уже не так важно. Когда женщина любит мужчину, она хочет от него ребёнка. Это же так понятно. Да и он сам становится для неё ребёнком, которого хочется оберегать, вкусно кормить, удивляя день ото дня. К тому же, ты ещё не свободен. В свободном полёте? Так ты это называешь? В общем, есть время проверить друг друга.

– Допустим. Но мы говорили о том, что ты переедешь ко мне. Когда?

– Сашенька! Я не могу, так вдруг оставить маму. По крайней мере, сейчас. Она должна привыкнуть к этой мысли. А переезд... Главное, что мы – вместе. Видимся почти ежедневно. Я ещё надоем тебе, – смеётся она.

Поцелуем он останавливает её смех. Взяв за подбородок, заглянул в глаза:

– В общем, так. Я не намерен более ждать, и желаю быть представленным твоей маме. В ближайшую субботу я у тебя. Возражения не принимаются. Understand?

– Ну что ж, если настаиваешь... – Она сдаётся. – В субботу, так в субботу.

О приходе Саши она сказала только матери:

– Возможно, сегодня к нам заглянет мой друг.

– Да? – Заволновалась Шарлотта Максовна, уже несколько дней хво-равшая. Она попыталась встать с постели.

– Мама, нет, – остановила её Марьяна. Когда он придёт, ты ненадолго встанешь. У тебя – криз. Лежи, я измерю давление.

– Но я хочу помочь тебе что-нибудь приготовить.

– В этом нет необходимости. Я справлюсь.

Сестру решила не предупреждать: «Скажу в последний момент».

– Что это ты с утра пораньше пирожки лепишь? – удивилась та, вы-йдя на кухню.

– Так, ничего. Суббота...

– Темнишь? Не будь жлобихой, рассказывай. Нас решила побаловать

или кого ещё? – не отстаёт Света, которой невозможно отказать в прозорливости.

– Алина ещё спит? – уклоняется от ответа Марьяна.

– Дрыхнет.

– Когда проснётся, скажи ей, если хочет, может сходить со мной на рынок. Я обещала ей кое-что купить.

– Отвянь, скажи сама. – Света смакует кофе. – Так кто придёт-то?

Марьяна привыкла к способу общения с сестрой и, ожидая, когда Светино любопытство иссякнет, заканчивает лепить пирожки с капустой.

– Слушай, – переключается Света на другую тему. – Я тут юбку себе прикупила. Оказалась мала. Не хочешь взять себе?

– Зачем покупала, если мала?

– Я что, примеряла? Не волокёшь? По знакомству же, фирмовая. Юбка классная. Будешь брать?

– Света! Я не покупаю вещи по спекулятивным ценам. Ты это знаешь.

– Ну и дура. Твои самоделки уже всем осточертели.

– Кому, интересно? Я же не заставляю тебя носить мои вещи, – улыбается Марьяна.

– Ты посмотри! Ру-ко-во-дитель группы! – Растягивая слова, с издёвкой говорит Света. – Смотреть тошно, как ты одеваешься. Могу себе представить этого...

– Кого?

– Ну, этого... Который «запал» на тебя. С аналогичным таким одноклеточным, к сожалению, знакома десять лет. Так кавалер придёт, угадала?

– Возможно. Так что, приготовься. Сможешь его обаять. – От смеха у Марьяны выступают слёзы.

– Не усекла... К чему это? А... Да иди ты к чёрту.

Услышав звук захлопнувшейся входной двери, Света выбегает из кухни на площадку за мужем:

– Куда тебя черти понесли? Опять за пивом намылился? – кричит она ему вдогонку.

До Марьяны доносится:

– Пасть закрой. И не шипи.

– Ты давай дуй в магазин за продуктами! Достал уже...

Марьяна прикрывает дверь кухни. Происходящее диссонирует с её собственными ощущениями.

– Так. Пирожки подготовлены, – проговаривает она вслух. – Спеку днём. Овощи отварила. Мясо запеку позже. Ага... Тесто для ватрушек ещё раз перемесить. Кажется, всё.

Перед выходом на рынок она заглядывает к племяннице:

– Алинка! Если хочешь со мной, живо одевайся.

Оказавшись под прицелом четырёх, изучающих его, глаз, Саша, тем не менее, остался невозмутим и сам с интересом разглядывал хозяев.

Речь, которую он произнёс пятью минутами ранее, была коротка, и теперь Шарлотта Максовна и Светлана переваривали её смысл.

– Боже! Какая пламенная, проникновенная речь. Я чуть не прослезилась. Так Вы тот самый Александр? А я буду Вас звать Алексом. Идёт? – Света обворожительно улыбается.

– Алекс? А что? Так меня ещё никто не называл. Мне нравится. Как ты думаешь, дорогая? – обнимает он Марьяну за плечи и шепчет на ухо.

– Убери эмоции. Они мешают.

– А мы не встречались с Вами прежде? Мне очень знакомо Ваше лицо, – не отступает Света.

– Не думаю. Моё лицо всегда кому-то кого-то напоминает.

– О! Какой у Вас парфум? Мой любимый. Я вижу, у нас и вкусы совпадают.

– Возможно.

– Света! – не выдерживает Марьяна. – Чёрт побери! Мой друг впервые у нас в доме. Я всё же надеялась, что ты не будешь вести себя подобным образом. Это – чересчур.

– Чересчур? – скинула брови Света так, как только она умеет это делать. С первой минуты, увидев Александра, она не может отделаться от чувства какого-то дискомфорта. Приятная наружность, умное, интеллигентное лицо, очки в роговой оправе. И этот твидовый пиджак, явно не из магазина, респектабельный, богемный, богатый. И её «Чмо», которое с утра ушло за пивом, так и не появившись. Нет, право, это несправедливо и таки «чересчур».

– Не ломай комедию. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, – отрывает Марьяна сестру от невесёлых размышлений.

– Да какая уж тут комедия? После месячного знакомства и сразу в загс? Если хочешь знать моё мнение, нюх тебе изменил. Я тебя совершенно не понимаю.

– Этого и не требуется. Я никогда не рассчитывала на твоё понимание.

– Ну и замечательно. Поступай, как знаешь. Ты – взрослая девочка. Только смотри, чтобы потом не пожалела, что не послушала сестру. – Она «сделала лицо», и к яркому румянцу добавился мазок печали. Нервно закурив, вышла на лоджию.

Не проронив до сих пор ни слова, Шарлотта Максовна нарушила молчание:

– Девочка моя! А может быть Света где-то права? Всё как-то скоропалительно...– Она оборачивается к Саше. – Ведь мы ничего не знаем

о Вас. Были женаты. У вас взрослый сын. Сейчас разводитесь. Вы так говорите. А если с женой всё наладится? Вы подумали о Марьяне?

– Мама! Какая чепуха. Что ты говоришь?

– Шарлотта Максовна! Милая! – Саша садится в кресло, взяв её за руку. – Вы напрасно тревожитесь. Я – хороший. Хотя, понимаю, вы – мать... Знаете, каков мой главный принцип? «Никогда не отказывайся от того, чего хочешь. Иначе, когда-нибудь можешь пожалеть об этом. Жить полной жизнью. Каждый день. Жить». Простите великодушно, но Вы не молоды. При этом обладаете жизненным опытом. Неужели интуиция не подсказывает, что я люблю Вашу дочь. Ну, посмотрите на меня повнимательнее. Я – правильный мужчина. Надёжный. Открытое, честное лицо. Разве такой обманет? – в его голосе столько самоиронии, что обе, и мать, и дочь расхохотались. Услышав лишь последнюю фразу, Света, вернувшись в комнату, добавила:

– Именно такой и обманет. Не боишься, что его уведут, сестрёнка? – Взглядом она сверлила гостя. На сердце у неё было сыро, мерзко, как за окном. Ярость пожирала её изнутри.

Шарлотта Максовна попыталась сгладить Светин выпад:

– Видите, они всё время пикируются... Но в глубине души любят друг друга. Сёстры...

– Мама, подожди! – резко обрывает её дочь. – Всё-таки нам хотелось бы знать о Вас несколько больше, прежде чем мы... Чем мама даст своё согласие... Всё-таки, и Вы не можете не считаться с этим, но я – старшая сестра.

– Старшая?! – улыбнулся Саша.

– Ничего смешного. Если хотите, на целых двадцать минут.

Саша расхохотался. Его смех был таким искренним и заразительным, что Света растерялась.

– Не сердитесь, Светлана! Вообще, с женщинами я предпочитаю не спорить. С Вами – готов. Но в другой раз. Однако, если необходимы подробности моей биографии, извольте. Ну, надеюсь, что детство и юношеские годы Вас мало интересуют. Итак, что мы имеем сейчас. До сорока осталось пару лет. Женился на последнем курсе института. Моя бывшая жена – мудрая женщина. Ради сына у нас вполне приемлемые отношения. Если позволите, не буду вдаваться в причины наших разногласий. Врозь мы почти три года. Развод, я имею в виду саму процедуру, дело хлопотное. В ближайшее время это станет юридическим фактом. Сын заканчивает школу. Думаю, с медалью. После этого, он с матерью уедет в Америку. Визы уже получены. Ну, вот. Собственно, что же ещё? Да, я кандидат наук. Электронщик. Место работы – Институт Кибернетики. В настоящий момент занимаюсь разработкой CD ROM-ов. Что это? Ну, это только красиво звучит. На самом деле всё прозаич-

но. Шарлотта Максовна! Повторяю для тех, кто ещё не понял. Это всё – детали. Главное – я люблю Вашу дочь и хочу, чтобы мы были вместе.

– Мамочка! – вмешалась Марьяна. – Мы затеяли всё это..., ну чтобы было всё по-человечески. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Прости, мама. Мы с Сашей просто хотели сказать, что приняли решение жить вместе.

– Ну, если вы так решили... – проговорила Шарлотта Максовна, бросив быстрый взгляд на вновь нервно закурившую Свету. – Я не возражаю, моя девочка. Хочу, чтобы ты была счастлива.

– Вы знаете, – Саша подошёл к накрытому столу. – А я проголодался. За нашими разговорами, всё остыло. Предлагаю всё же выпить за нас. Ну вот. Даже шампанское устало от ожидания, пузырьки улетучились...

– Подожди, я разогрею мясо. – Взяв блюдо, Марьяна вышла на кухню, и Света, не долго думая, с двумя бокалами подошла к нему:

– Вы знаете, Алек! Особи мужского пола обладают двойственностью души. Мужской и женской. Что, впрочем, пытаются скрыть. Они все неврастеники и психопаты. Что скажете? – Она с вызовом смотрела на него.

– Света, милая! Скажу, что танго «втроём» нам не грозит.

– Очень умный, да? Череп не жмёт?

– Не жмёт, – рассмеялся Саша.

– Ну, что? Тебя уже обаяли? – Вернувшись с разогретым вторым, спросила Марьяна.

– Пытались, но я остался непреклонным. Правда, Светочка? – Взяв со стола бокалы, он подошёл к Марьяне:

– Дорогая, за нас!

После десерта Марьяна ушла на кухню мыть посуду. Саша мирно беседовал с будущей тещей, и Света больше не делала попыток дискутировать с ним.

Когда всё было прибрано, Марьяна обняла мать:

– Мамочка, буду завтра к вечеру.

– Ну, и как тебе это нравится? – Обращаясь, то ли к себе, то ли к матери, спросила Света, когда за сестрой захлопнулась дверь. – Надо же. Фантастика какая-то. До чего дошла – никому ни словечка. Оборзела, партизанка. А он? Как он тебе нравится? Ну, просто отвратительный, слащавый какой-то. Типичный сахарин. И наглый, к тому же.

– Мне так не показалось. По-моему, очень интересный мужчина, и люблю Марьяну, – сказала Шарлотта Максовна.

– Лю-бит, – передразнила мать Света. – Как же. Держи карман шире. А ты тоже хороша. Быстренько взяла и согласилась. И не стала даже выяснять

его родословную. Тебя что, уже не волнует происхождение? С чего бы это?

– Ты, вижу, как всегда не рада за сестру.

– А с чего мне радоваться? Она радовалась за меня? – прокричала Света и осеклась под взглядом матери.

– Да, всё как всегда. Что касается родословной Александра... Однажды, много лет назад, мы с папой интересовались родословной Леонида. Надеюсь, помнишь? Впрочем, тогда он был другим. При всей моей антипатии к нему, должна признать: ты сделала его таким, каков он теперь. На что похожа твоя семейная жизнь? Мыльный пузырь...

– Не твоё дело. Слышишь? Не смей касаться моей семьи. Хотя, о чём это я? Марьяночка всегда была у тебя в любимицах. А я, так... Между прочим...

– Чуть! Ты же моя дочь. И мне горько, что у тебя так сложилась жизнь. Уж и не знаю, можно ли что-то тут исправить.

– Не волнуйся! Я уж как-нибудь разберусь. Горько ей... – Света налила себе шампанское и залпом выпила.

– Прекрати пить! Ты уж и так хороша. Пить шампанское в одиночку то же самое, что танцевать со стулом. Иди, кажется, твой муж вернулся и опять не может попасть в квартиру.

– Реорле! Есть кто дома? – кричал из-за двери Леонид. – Замок сменили, сволочи? – Он никак не мог вставить ключ в замочную скважину.

– Допился, друг мой сердечный?! Поздравляю! Ну, проходи. – Света впустила его в дом. – Где ж тебя носило-то? Тут вон, какие события, а тебя и не было... Ладно, пошли на кухню. Повеселимся.

Осоловевшими глазами глядя сквозь жену, он пытался снять туфли и никак не мог:

– Завтра. Счас – спать.

– Как прикажете. Хоть бы упился уж поскорее.

– Фурия! Чо о себе воображаешь?

– Ошибаешься. Я – гарпия. Господи! Как же вы все мне осточертели.

В воскресенье, около двенадцати, Леонид проснулся от шума. Выйдя на кухню, увидел разъярённую жену, которая складывала в большую корзину кухонные принадлежности сестры.

– Вус трапилось? Чо за кино? – спросил он.

– Очень интересное кино. Ты вчера всё пропустил. Давай, ешь. Потом расскажу. А то аппетит потеряешь.

Сев за стол, он приступил к остаткам со вчерашнего стола. Свету мутило от вида, как грязно он ест:

– Тьфу! Что ты куски заглываешь? – издевалась она. – Куда торопиться? Не отнимут.

– Что случилось, спрашиваю?

– Случилось... Твоя-то! Замуж выходит. Не дождалась, пока мы с тобой разбежимся окончательно. Нашла себе... Вумника одного, электронщика... Правда, не чета тебе, собутыльников не ищет. Ну, как? Нравится новость?

Окончательно протрезвев, Леонид поперхнулся:

– Что ты несёшь? Какое «замуж»? Где сестра? Что её вещи складываешь?

– Ты ещё не понял? Включи мозги! Замуж она выходит. Да, уж не за тебя, как видишь! Ушла. Вчера кавалер её был. С ним и ушла. Ой, смотри! Расстроился! Сознание не потеряй!

Потрясённый, Леонид прекратил есть. Червь, много лет точивший его изнутри, казалось, достиг голосовых связок. Вдруг потеряв голос, он прохрипел:

– Где дети? Дети где, спрашиваю?

– Гуляют. На часы посмотри! Дети ему нужны, придурку.

– Зачем же ты за придурка вышла?

– Вышла б я за тебя. Как же! Если б не залетела тогда, – пожав плечами, она отвернулась от него.

Всё ещё осипшим голосом он сказал:

– Права была мама. Давно нужно было бежать от тебя подальше. Мать из тебя никудышняя. Какая ты жена, сама знаешь. Если бы было куда, ушёл бы хоть сегодня. Да и девчонок забрал бы.

Ему захотелось стать маленьким и оказаться подальше отсюда. Не сам ли всё это придумал? Не хотелось анализировать канувшее прошлое. Не мог заглянуть и в непредсказуемое будущее.

Он оделся и ушёл.

КАРЛ АБРАГАМ

ДУНЯ КАЛУГИНА

(из врачебной практики)

В чайной краснянского сельпо поварихой работала Дуня Калугина. Тихая, безответная, маленького роста женщина, выглядела слабой и истощённой. Она регулярно проходила врачебные осмотры, сдавала, как положено, анализы и считалась здоровой. Однажды на приём ко мне пришёл её муж – директор машино-тракторной станции, невероятно обеспокоенный тем, что жена его такая худая и бледная. Сам он – человек жизнерадостный, ростом под метр девяносто, с небольшим брюшком и румяным лицом – излучал здоровье и силу. «Уж не туберкулёз ли у неё?» – спросил озабоченный супруг. Я пригласил Дуню на приём, и вот, что она мне рассказала: да, действительно, она устаёт, у неё нет сил, она еле ходит. Каждую ночь муж требует, чтобы она занималась с ним любовью. Она настолько слаба, что сопротивляться ему не в силах. Вечерами Дуня подолгу возится на кухне, прибирает то, что давно прибрано, устраивает маленькие постирушки и ждёт, когда он уснёт. Иногда он засыпает, но чаще всего притворяется, что спит, и тогда он хищно набрасывается на неё, подминает под себя и подолгу терзает её маленькое хрупкое тело. И так по два-три раза за ночь. Нельзя сказать, что она совершенно безучастна к тому, что он делает, но если ему вдруг кажется, что она недостаточно активна, то он, муж, становится ещё более агрессивным. В дни женского недомогания он оставляет жену в покое, но после этого требует компенсацию за каждый пропущенный им день. Детей у Калугиных не было, поэтому Дуня готова порвать с мужем, но не знает, как рассказать суду о причине развода. «Ведь засмеют, – говорила она, – да и Федю жалко». Надо заметить, что происходило это в небольшом районном центре в середине пятидесятых годов прошлого столетия, и рассказывать о своих сексуальных проблемах в то время никто не решался.

Мы снова обследовали Дуню, но никаких серьёзных заболеваний у неё не выявили. Через пару дней пришёл Калугин, и я сообщил ему об истинной причине худосочия его супруги. Он внимательно меня вы-

слушал и после некоторой паузы сказал: «Вы понимаете, доктор, у нас нет детей. Мне казалось, что чем чаще мы будем с Дуняшей вместе, тем шансы забеременеть увеличиваются». Я посчитал это отговоркой, но на всякий случай предложил дуниному мужу обследоваться.

После недели воздержания и трёхминутного глумления над своей плотью Калугин наконец выдал лаборантке полпробирки мутной молочного цвета жидкости, а сам остался сидеть в коридоре. Вместе с лаборанткой сел за микроскоп и я. То, что я увидел, поразило меня: в поле зрения микроскопа мельтешило два-три чуть живых сперматозоида. Остальные были либо мертвы, либо с явными уродствами. Нам стало ясно, что у этого мужчины своих детей никогда не будет. Что делать, что сказать Фёдору Степановичу (так звали директора МТС)? После короткого размышления я вышел к Калугину и сказал, что в плодovitости его семенной жидкости сомневаться не приходится. И далее пустился в туманные рассуждения о предполагаемых причинах бесплодия: «Возможно, что Дуня не может зачать в связи с худобой, в связи с истощением нервной системы. Будьте благоразумны, – наставлял я Фёдора Степановича, – не требуйте от жены благосклонности чаще, чем два раза в неделю, дайте ей отдохнуть, пусть она немного окрепнет; ещё лучше, если бы она смогла подлечиться в каком-нибудь санатории». На том и расстались.

Отношения между супругами стали постепенно налаживаться. Правда, спали они теперь в разных комнатах, так что Федя не слишком часто беспокоил супругу. Однажды она пришла на приём с просьбой заполнить санаторно-курортную карту. После некоторых колебаний я рассказал Дуне о результатах обследования мужа. Известие это она восприняла спокойно, внутренне, видимо, давно подготовившись к неминуемому разводу. Я бы даже сказал, что сообщение моё подействовало на неё успокаивающе: теперь, по крайней мере, появилась серьёзная причина для расторжения брака.

Заполнив курортную карту, я посоветовал ей, как бы между прочим, не отказывать себе на курорте в земных радостях. Вы никогда не видели лица замужней женщины, когда ей в официальной обстановке «такое» предлагают? Это миг не совсем ещё осознанного грехопадения, в котором смешаны доверчивая улыбка и жгучий стыд, растерянность и решительность, где на твоих глазах происходит борение двух чувств «дозволенного» и «недозволенного». А врач? Что чувствует врач при этом? А что может чувствовать соучастник грехопадения?

Курортный роман скоротечен. Спустя три месяца Дуня Калугина встала на учёт по беременности, а ещё через полгода – родила мальчика. Окружающие находили в мальчике большое сходство с директором МТС: «Ну, вылитый папа, одно лицо!»

ЛЮДМИЛА БЕЛОУСОВА

ПРЫЖОК В СВОБОДУ

Цирк Шапито вырос за несколько часов в городском парке, на окраине города, рядом с автобаном.

По городу были расклеены афиши: воздушные гимнасты, клоуны, акробаты, слоны, дрессированные тигры и пантера. Всеобщее внимание привлекала афиша с изображением пантеры: чёрное чудовище с горящими глазами и хищно оскаленными клыками на фоне пылающих факелов. Жаль, она не видела этих афиш – её везли по городу в закрытом фургоне.

Жаль. Ей бы понравилось.

Она не забывала, что родилась свободной. Потом они с матерью попали в зоопарк, а через некоторое время её, маленьким пушистым комочком, продали в Цирк.

Мать назвала её Чёрной Молнией. Но в Цирке её никак не звали. В ведомостях она проходила как «пантера, чёрная, одна». А укротитель обращался к ней: «давай, делай» или «ап». Она была одна. Одна чёрная пантера.

Тигров было четверо, поэтому их окликали по именам: Шах, Баграм, Пушок и Васька.

Кличка «Васька» была особенно оскорбительной.

– Все равно, что болонку назвать «Рембо», – шипела Чёрная Молния.

Укротитель был молод и смел. Он выходил на арену в одних восточных шароварах, щеголяя обнаженным мускулистым торсом.

Он легко взмахивал хлыстом, и огромные тигры послушно вставали на задние лапы, скаля клыкастые морды. Он негромко говорил: «Ап!», и гибкая пантера прыгала через горящий обруч...

Публика ликовала, хлопала в ладоши.

Чёрная молния от унижения широко раздувала ноздри.

– Он нас нещадно эксплуатирует, – говорила она тиграм, – утром репетиция, вечером – представление. А что мы с этого имеем? Перемороз-

женное мясо. Кости, а не мясо. Тесную клетку. Никакой личной территории. В зоопарке хищники живут на всем готовом, ничего не делают, а вы знаете какие у них помещения? У них там деревья растут, у них личная территория, они двигаться могут, прыгать с ветки на ветку...

– Ты на работе не напрыгалась?– лениво шевелил хвостом Шах. Он родился в цирке и ничего не знал кроме работы.

– Это разные вещи – сверкала глазами Черная Молния – скакать с тумбы на тумбу под кнутом или двигаться по своему желанию. Сколько можно терпеть постоянные оскорбления? От этого жалкого существа. Унижения. Ты же не беспородная дворняжка.

– А ты помнишь свободу?– мечтательно спрашивал Баграм

– Да, – вдохновенно отвечала Молния, сверкая глазами. Хотя только смутно помнила высокое переплетение ветвей. И рассказывала слышанное от матери. И рассказывала свои грезы. Джунгли. Стремительные реки. Величественные горы. Свежее мясо.

Снова и снова вливая в души тигров терпкий яд свободы.

– Как это прекрасно, – наклонял голову Шах, – свобода, воля и свежее мясо.

Тигры спали, положив головы на могучие лапы. Иногда вздрагивали, словно во сне подбирались для прыжка. Им грезились джунгли, которых они никогда не видели.

А Черная Молния сверкала глазами в черноту зверинца, и мечтала о свободе.

Пантера сидела на высоком помосте, а тигры, шагая на задних лапах, вращали горизонтальные лопасти. Это называлось – «Карусель».

Баграм перебирал лапами, старался удержаться на пестром шаре, в надежде получить кусочек мяса за выполненный трюк. Когти металлически постукивали по дереву. От голода посасывало в животе. Утром их не покормили, некогда было в суете переезда, теперь – только после работы. Тигр неловко повернулся, и полосатой тушей соскользнул в опилки.

– Делай. Ап!

Легкий щелчок кнута. Не очень больно, но обидно.

– Ап!

И снова полосатый гигант, недовольно урча, перебирает лапами по шару.

Укротитель поднял обруч перед мордой Пантеры.

– Ап!

Черная Молния распахнула зеленые глаза и оскалила мощные клыки.

– Неххх-о-чччу.

– Ап!–Резко крикнул Дрессировщик. Острый укус кнута заставил пантеру вздрогнуть.

– Не хо-ччу!

И снова удар хлыста. Уже сильнее.

– Ап!

Ненавидя себя, она прыгнула в обруч.

Все кошки охотятся из засады. Они умеют ждать. И Чёрная Молния умела ждать. Она ждала и знала, что наступит желанный миг. Сегодня, завтра, через неделю. Она научилась ждать. И дождалась.

Как случилось, что железная дверь в манеже осталась лишь притворенной?

Как и почему Ассистент развалился в кресле первого ряда, уронив на пол железную рогатину и пистолет? Этого никто не мог сказать. Так получилось. Может быть, на одну минуту он расслабился и уже напряг мышцы, чтобы встать и навести порядок. Но ей хватило этой минуты.

– Ап,– произнес Дрессировщик и поднял обруч.

Пантера изготовилась к прыжку, подобралась, резко стегнула себя хвостом по бокам и прыгнула. Только прыгнула не в обруч, а на дрессировщика. Он упал, нескладно раскинув руки. Тигры замерли на секунду и обрушились на копошащееся в опилках тело. Оно уже не было Дрессировщиком, – оно стало добычей.

Но Пантера не позволила им расправиться с врагом.

– Скорей, скорей, – звала она, – на волю!

Она выскочила из клетки, повалив одним ударом мощной лапы на пол ошеломленного Ассистента, в три прыжка достигла входных дверей и вырвалась из Шапито.

– Победа! – радостно рычала она, – свобода, воля!

– Свобода! Джунгли! – вторили ей тигры и устремились за ней следом с такой скоростью, что полосы на шкуре сливались в одно тёмное пятно.

Они мчались длинными прыжками по парку вокруг Шапито. Нечастые клены и березы казались им джунглями, шум автобана – рокотом реки.

Пантера в упоении вспрыгнула на толстую ветку старого клена и снова громко зарычала:

– Свобода.

Перепрыгнула на другую ветку и рыкнула еще громче:

– Воля!

...Шах брезгливо отряхивал лапы в холодной луже, Пушок нервно поводил плечами под частыми каплями осеннего дождя.

Свобода оказалась холодной и мокрой.

У тигров снова заныли пустые желудки, и захотелось назад, в тёплую тесноту клетки.

Самый крупный, Баграм, виновато посмотрел на прыгающую по веткам Пантеру, и, повесив голову, затрусил к Цирку. Сбившись в кучку, трое оставшихся следили глазами то за дезертиром, то за манящей в бег Пантерой. Горестно вздохнув, они переглянулись и повернули назад.

Чёрная Молния осталась одна в листопаде парка. Она зарычала, подзывая тигров. Ответом была тишина.

Пантера толкнула лапой дверь и вошла в Шапито. Тигры метались по клетке, огораживающей манеж, испуганно шарахались от лежащего ничком дрессировщика. Чёрная Молния, взметая опилки, вбежала на арену. Победно поставила лапу на неподвижное тело.

– Победа, – начала она. Но замолкла. Тигры один за другим медленно тяжелыми прыжками вскакивали на тумбы.

Пантера стремительно обежала круг, пытаясь снова увлечь товарищей на волю. Но тигры уже сидели на своих местах, свесив полосатые хвосты.

Чёрная Молния медленно обошла клетку, отбросила когтистой лапой сломанный хлыст.

Низко и страшно зарычала в пустой зал, роняя густую пену с клыков.

Потом она бросила прощальный взгляд на тигров, напряжила мускулистое тело и Чёрной Молнией выпрыгнула из цирка. Промчалась по парку, одним прыжком пересекла автобан, не замечая испуганно ревущих автомобилей, и бросилась вон из города. Мчалась по полям и лесам, чувствуя подушечками сильных лап мягкую податливую землю. Её лёгкие наполнял душистый воздух, не похожий на тяжёлый запах арены. Воздух Свободы.

Она мчалась в Джунгли.

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

ЛЮБЕЗНЫЙ АРИОСТ

«Любезный Ариост немножечко охрип»

Осип Манделъштам

Не в этом суть, охрипнуть может каждый,
кто простудил гортань на северном ветру,
к пустым словам испытывает жажду,
и тишина ему не по нутру.

Таланта нет, но любит позлословить,
и связки надрывать, доказывая бред,
амбиции кипят в его основе,
и на душе обиды многих лет...

Не в этом суть, а в ярком результате
того, кто соловьём поёт, когда охрип,
желанен ли, но вечно будет кстати,
будь Карлик он, Орфей или Эдип.

Не укротить мгновений передраги,
но вывод здесь один: значителен и прост, –
не стоит изводить стопу бумаги, –
любезен всем охрипший Ариост.

К пушкинским дням

1. У ЧЁРНОЙ РЕЧКИ

Ещё не взведены курки, –
смиранны в ящиках Лепажи,
пустые стыннут экипажи,
скачуют кони у реки.

Смущён беспечный д'Аршиак,
погасла трубка у Данзаса,
волнует их вопросов масса, –
решительный остался шаг.

Смерть поджидает свой улов,
и секунданты деловито
регламент уточнив, сердиты, –
не в силах примирить врагов.

Дуэль имеет свой закон, –
недопустима в ней осечка,
и белый снег у Чёрной речки
Поэта кровью обогрён.

Нет, не красавец Жорж Дантес
причислен к Пантеону Славы,
назначена ему расправа, –
нести убийцы тяжкий крест.

2. ПОСМЕРТНЫЙ СЛЕПОК

Под веками глаза навеки слепы,
уста хранят незавершённый стих.
Дороже мне с него посмертный слепок
портретов дам, улыбок сладких их.

Известно всем, что он, почти с рождения,
влюблён был в Музу,
в томный женский взгляд,
в балы и танцы, и цыганок пенье,
в азартный штосс,
и щегольской наряд...

Мне горько, что так рано и нелепо
ушёл он, – и гортань сжимает ком...
Теперь лица его посмертный слепок,
в музее прописался под стеклом.

Его не успокоены страницы, –
ведь не дописан жизни эпилог,
который будет бесконечно длиться,
как мировой Поэзии залог.

КНИЖНЫЙ СОНЕТ

В моих шкафах тоскует книжный мир, –
он сер, как камень, в толстом слое пыли,
о нём давно мои глаза забыли,
и под рукой лишь Пушкин и Шекспир.

Они в ковчеге мыслей, – вечный пир, –
весь мир Поэзии в себя вместили,
в них образов и рифм живёт всесилье, –
к чему мне новоявленный кумир?

Мне скажут: «Невелик репертуар, –
где Данте, где Петрарка, где Ронсар, –
нет лучших Мастеров в твоём ковчеге.

А Мандельштам, Цветаева и Блок,
как исключить ты их, несчастный, мог?»
Шепчу: «Милей мне Гамлет и Онегин!»

ВЕТРА

Хохочут, рыдают
на сотни рулад,
Из ада и рая
они состоят.
Ни грамма покоя
ни в радость, ни в грусть,
стремятся толпою
летать.
Ну, и пусть.
Ни гаммы, ни ноты
ветрам нипочём,
посмеет их кто-то

назвать дурачём?
Хоть окна откроем,
хоть – шире карман,
не сможет никто им
поставить капкан.

Играем мы сказку
на все голоса,
но жизнь под завязку
нам гасит глаза.
Лишь ветры вдогонку
подуют нам вслед,
прощальным и звонким
их будет привет

МРАК

Мрак разбросан по балкону, –
бестелесен и упрям,
содрогается от стона.
Слышен скрип оконных рам.

Напряжён, сосредоточен,
словно волю сжал в кулак,
различим глубокой ночью, –
тишины слепой маньяк.

Вроде бы, он неприметен,
но приковывает взгляд,
Он – хранитель лжи и сплетен,
и всегда общенью рад.

Оглушён он песней ветра,
неопровержим, как факт.
И порой, под запах едкий,
пожирает мысли мрак.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Это сумерек оскал,
темень плавится в гримасах,
возбуждения накал,
память я перелистал,
что искал в её запасах?

Заарканить бы мечту,
но она умчалась в Лету,
ведь плясала ж по листу,
жаль свалилась в пустоту, –
одурачила Поэта.

Может, поздно мне теперь,
и не стоит возвращаться
в мир иллюзий и потерь –
просто выставить за дверь
суету импровизаций.

ПЕРЕБОРЫ

Перезвон колоколов,
переливы ветра,
пересказ случайных слов,
обронённых где-то.

Передёргиванье карт,
перенасыщенье,
не уменьшило азарт
и столпотворенье.

Перебранка из окон,
пересуды сплетен,
пересилен горький стон
язвами отметин.

Переплавлен камертон,
перестуком гула,
прекратился перегон,
музыка уснула.

Переброшен тонкий мост
через шум событий,
перешёл ответ в вопрос
(вы уж, извините!)

Что принять за эталон, –
«пере...» или «недо...»?
Слава Богу, что перрон
не утих от бреда.

НЕПОСЕДА

Дождик хитрым был, с капризом,
щекотал мозги и нос он,
и бросал природе вызов, –
тормознуть стремился осень.

Прекращаться не желал он,
приставучий непоседа, –
спрячет крошечное жало. –
лишь своё продвинет кредо.

Пощипал деревьев кроны,
угостил ряд тонких веток,
окропил водой влюблённых, –
всех взбудрил к исходу лета.

Завершил своё он дело:
воздух стал колючим, зябким.
Поразмыслил еле-еле –
утянул за тучу лапки.

Всё кончается когда-то,
всех Господь учтёт, рассудит:
добрых, злых и глуповатых, –
не забудьте это, люди!

В ЗАЩИТУ ЛЖИ

И ложь имеет свой резон,
и право на существованье
И вовсе ей не чужд закон –
не выходить за рамки грани.

Она забавна и вертка,
с замысловатой вязью шутки,
и умного, и дурака
пленит весёлою минуткой

Её фантазий хватит впрок
заполнить до отказа уши,
она поймает на крючок
доверчивость и простодушье.

И если захлестнёт тоска,
поверьте:
ложь с лукавством схожа,
появится издалека...
О, не пренебрегайте ложью!

ДЕКАБРЬ

Декабрь снизошёл, до вечера дождит,
и воздух перекрасился в маренго.
Каркасы голых крон преобразили вид, –
Декабрь на месяц жизнь снял в аренду.

Дыханье с хрипотцой, и даже слабый свист
рванулся из простуженной гортани.
Но по земле ползёт бродяга, – жёлтый лист,
назло зиме и людям в назиданье.

Декабрь не щадит малюток-воробьёв,
непредсказуем он в своём прогнозе.
Торопится народ уйти под тёплый кров,
декабрь пока на старте в зимнем кроссе.

Закончится декабрь, наступит новый год,
на обещанья он не посягнет.
Возможно, доброе он что-то принесёт,
открыв для жизни новую станицу.

ДМИТРИЙ БОРИСОВ

ПОЭТ

Жил-был один поэт. И была у него любимая женщина, которая всегда ходила с ним, и носила толстую пачку бумаги, на которой поэт должен был написать великое стихотворение о великой любви к этой женщине.

Великая любовь так же велика и бесконечна, как звезды. И для того, чтобы написать это великое стихотворение, нужно было великое вдохновение. Поэтому поэт очень долго ходил по лесу, и выбирал самое высокое дерево, на которое он должен забраться (чтобы быть ближе к звёздам), почувствовать вдохновение и написать это великое стихотворение. А любимая женщина всё ходила за ним и носила эту толстую пачку бумаги.

Но к поэту никак не приходила удача. Как только он находил самое высокое дерево и забирался на него, так сразу закрадывались сомнения. Казалось, что другое дерево выше. Тогда он спускался с этого дерева и шел к другому дереву, но история повторялась.

Поэт очень беспокоился. Иногда он даже злился. Особенно раздражал его немой вопрос, который был в глазах его любимой женщины. Каждый раз, когда он спускался с дерева, женщина смотрела на него и, как бы, спрашивала – Ну, что?

И поэт злился.

– Что-что? Не надо меня торопить.

– Я не тороплю, – отвечала женщина.

– Нет, ты торопишь! – кричал поэт. Иногда эти ссоры заканчивались слезами.

И вот наступило одно утро, когда поэт тихонько встал и ушел.

Женщина спала.

– Мне одному легче найти дерево, – думал поэт, и уходил все дальше и дальше.

И действительно, к вечеру ему повезло. Он нашел самое высокое дерево. Звёзды казались такими близкими. Он просидел на верхушке дерева всю ночь. И под самое утро родились первые строчки.

Они были очень простые и появились сами собой, когда поэт подумал о любимой женщине, и его сердце сжалось.

Любовь моя, Где ты теперь?..

Но поэт не радовался этим строчкам. И не считал, что это стихи. Это была просто боль его сердца.

– Любовь моя, где ты теперь? – как заклинание повторял он, слезая с дерева.

– Любовь моя, где ты теперь? – повторял он и бежал к тому месту, где осталась его любимая.

– Любовь моя, где ты теперь? – повторяли за ним деревья, птицы, цветы...

Где же это место?! Ведь он хорошо помнил дорогу. Он знал почти весь лес.

Где это место? Где? Где? Где?

Поэт не останавливался ни на минуту. Он бежал и бежал. И когда кончились силы, он упал в траву. Потом повернулся на спину, увидел звёзды и замер...

Нет-нет, он не умер, наоборот, ему показалось, что он родился только теперь.

Он вдруг услышал, как дышит Земля. Как дышат деревья. Как дышат звёзды.

Это дыхание было похоже – одновременно – на стон, и на красивую мелодию. У каждой Звезды, у каждого дерева, у каждой травинки был свой голос. Эти голоса, как ручьи, сливались в реки. А реки в один бесконечный океан.

В этом океане он услышал свое дыхание. Дыхание своей любимой. И даже дыхание и песню своих родителей, которых давно не было в живых...

Тогда поэт встал, и спокойно пошёл к своей любимой. Теперь он точно знал, где она.

Знал, что скажет ей. И, наверно, знал, что напишет.

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

(АНЕКДОТ)

«Я – полетел!» – сказал Леонардо, и стал залезать в свой первый летательный аппарат.

«Нет» – сказали ученики. «Опыт – есть опыт. Живой ты нам дороже»

Нашли какого-то крестьянина, заплатили ему за целый рабочий день, он полетел и разбился.

«Я это предвидел!» – сказал гениальный Леонардо – «Ничего хорошего от науки человечеству не будет»

Ученики слушали мастера и помогали закапывать погибшего.

Леонардо постоял немного. Помялся. Хотелось добавить еще что-нибудь гениальное, но помешал церковный колокол. Леонардо резко развернулся и пошел дописывать Джоконду.

Говорят, многое появилось в портрете от жены того погибшего крестьянина. Особенно улыбка.

БАБОЧКА

Жила-была Бабочка. Хрупкая, легкая, с большими белыми крыльями, на которых виднелись сине-желтые пятна, как цветы на снегу.

Как она любила встречать солнце! Ей казалось, что она чувствует каждый его лучик. И у каждого лучика был свой характер, свое настроение.

Когда солнце уходило, и становилось темно, Бабочке казалось, что она прощается с этим миром навсегда. Но от этого не было грустно, ведь обязательно должно быть что-то дальше.

И действительно – из небесной глубины всплывали звезды, появлялась Луна, и оживал Мир Ночи.

В этом мире все было по-другому. Даже ворота, которые открывали дорогу в Страну Снов, были не похожи на обыкновенные ворота и открывались так незаметно!..

Так же незаметно прошло и лето. Дни стали короче, а ночи холоднее. Как же мерзла хрупкая Бабочка!

Укутавшись в листву, она дрожала до самого утра, и никак не могла понять – почему у неё нет такой шкуры, как у медведя, чтобы не страдать от холода. Или почему нет таких же когтей, как у крота, чтобы откапывать спрятавшиеся цветы? Почему так? Почему?

Но не только эти мысли приходили Бабочке по ночам. Ей часто вспоминался случай, который был в один из тёплых дней. Тогда было очень много людей, и очень много шума. Люди вообще очень шумные существа. Но тот шум был особенный. Они сидели в выкопанных ямах и кидали друг в друга огонь, пытаясь попасть в руку или голову, а лучше в сердце. Некоторые кричали, некоторые плакали, а некоторые падали и замирали.

– Зачем они это делают? – думала тогда Бабочка.

И вот, когда все утихло – наверно они просто устали – Бабочка снова вернулась на поляну.

Все люди лежали неподвижно, и в их глазах не было радости. Зато какая была тишина!

Только двое о чем-то говорили. Чтобы лучше слышать их разговор, Бабочка подлетела ближе.

Один лежал на земле, а другой стоял рядом и кричал: – Молись!

Бабочке было интересно: – что это такое «Молись», и как это он будет делать. Она сделала пару кругов вокруг головы лежащего человека, и села ему на грудь.

– Я не знаю молитву, – прохрипел лежавший человек.

– А зачем жил, – знаешь? – спросил другой.

Лежавший сначала закрыл глаза, потом посмотрел на сидевшую на его груди бабочку, чему-то улыбнулся, и ответил – «Нет». Тогда другой человек повернулся и пошел.

– А ты! – закричал лежавший – Ты знаешь – зачем?

Тот остановился, негромко сказал «Нет», и пошел дальше.

– Ха-ха-ха – рассмеялась тогда Бабочка и взлетела вверх. – Как это можно не знать, зачем живешь? Ну как?! Ведь это так просто и понятно!

Остальные люди, которые лежали всюду на поляне, наверно, тоже не знали ответа, поэтому и молчали.

В тот день, еще солнце не ушло, а Бабочка уже забыла и про ту поляну, и про людей, и про странные слова. А вот теперь, в длинные, холодные ночи – чего только не вспомнишь...

– А я зачем живу? – думала теперь она. – Зачем живу – Я? Зачем!

Эти мысли терзали её иногда сильнее, чем голод, время и холодный ветер.

Но как хорошо, что все кончается.

Прошла, наконец, и эта долгая ночь. Вернее она не прошла, а как-то оборвалась... Тянулась, тянулась и... оборвалась...

Бабочка вдруг почувствовала такую легкость! Как тогда, в самом начале лета.

И еще было странно то, что крылья её не двигались, а она поднималась все выше и выше.

– Я так высоко еще никогда не летала – думала Бабочка, поднимаясь над облаками.

Она так увлеклась полетом, что не заметила, как исчезли её крылья, лапки, усики, а потом ...и она сама...

Только в самый последний миг она подумала, что расстается с чем-то очень дорогим, и закричала.

Все замерло.

Она огляделась. Вокруг неё сияли маленькие звездочки. И хотя было очень светло, но свет от них был еще ярче. Их было так много! И они были всюду!

– Не бойся – раздалось где-то далеко и совсем близко.

– Я не боюсь! – храбро ответила Бабочка. – Просто я чувствую, что уже никогда не вернусь. Что забуду всё. И даже мою маленькую жизнь, которая так незаметно пролетела.

– А зачем тебе о ней помнить? – опять раздался голос.

– Как зачем? Разве моя жизнь ничего не значит?!

– Значит.

– Что? Что она значит? Для чего? Зачем нужна была моя маленькая жизнь? Зачем?

Звезды задвигались, как будто тоже искали ответ. Потом рассмеялись. И голос, который был и далеко, и близко, а теперь уже внутри самой бабочки, ответил: « ЧТОБЫ БЫЛО КРАСИВО! ».

ИГРУШКА

Однажды служанка перебирала старые вещи, и нашла деревянную игрушку. «Какая чудесная птица, – воскликнула она, – вы только посмотрите, она прямо как живая! Наверно, вы ею очень дорожили, господин Штольц, когда были ребенком?»

– Ах, Берта. Какая вы наивная, – возразил ей господин Штольц, – вы прослужили у меня столько лет, но так и не научились отличить дорогую вещь от простой. Я помню эту игрушку. Её принес на мой день рождения один мальчик и подарил мне. Да, да, я хорошо помню, как все мы тогда над ней смеялись. Нет, конечно, не сразу, а потом, когда тот мальчик ушел – ведь мы были хорошо воспитаны. Но, несмотря на юный возраст, мы уже тогда могли отличить дорогую вещь от простой. Помню, в тот же день рождения мне подарили какую-то книгу с золотым переплетом, так она до сих пор хранится у меня в шкафу.

– Господин Штольц, а кто был тот мальчик? – спросила Берта, разглядывая деревянную игрушку.

– Кажется, сын нашего бывшего садовника. Старик не справлялся со своей работой, поэтому мой отец и хотел его выгнать. Ну а мальчик, сын этого садовника, наверно, решил этим подарком разжалобить моего отца, но получилось наоборот. Помню, когда они покидали наш дом, то у них не было никаких вещей. Так, маленький узелок.

– Значит, тот ребенок подарил вам самое дорогое? – робко спросила Берта.

– Ну, не надо драматизировать, – улыбнулся господин Штольц, – это была просто детская наивная хитрость, а может быть даже сам садовник заставил это сделать своего сына. Я тогда мало понимал в особенностях

человеческой природы, но мой отец говорил, что есть такие люди, которым лень не то что заработать, а даже – просто украсть.

– Простите, господин – сказала Берта, потом, помолчав немного, она тихо спросила: «Господин Штольц, что делать с этой игрушкой?»

У господина Штольца с утра было хорошее настроение, и он сразу догадался, что игрушка понравилась Берте. Что поделатъ – простота притягивает простоту.

– Сожги её – сказал он и улыбнулся.

Берта ничего не ответила, а только опустила глаза, прижала игрушку к сердцу и вышла.

– Ах, Берта, Берта – подумал господин Штольц, – совсем не понимает шуток. Ладно, в обед скажу ей, что пошутил, вот обрадуется глупая!

Время до обеда летело очень быстро. Как впрочем, от дня ко дню, от года к году. Господин Штольц был очень деловой и занятой человек и, конечно, забыл сказать Берте о своей шутке. Тем более что к обеду приехали гости. А на следующий день другие гости, а потом и самого господина Штольца пригласили в гости, одним словом, в жизни столько происходило, что разве упомнишь всё?

Месяца через два, будучи опять в хорошем настроении, господин Штольц спросил Берту о деревянной игрушке, но она вдруг как-то вся согнулась, что-то пробормотала, и хотела уйти.

– Так вы сожгли игрушку или нет? – настойчиво интересовался господин Штольц.

– Да, – тихо ответила Берта.

– Зря, – подумал господин Штольц, но то, что всё это было просто шуткой, говорить не стал. Вы за последнее время стали какой-то грустной и растерянной, надеюсь, это не из-за деревянной безделушки?

– Нет, – ответила Берта и покраснела.

– Хорошо, – сказал он и улыбнулся – идите, работайте, а вечером я приду, и мы с вами еще поговорим.

Берта вышла из комнаты, а господин Штольц остался доволен тем, что не сказал бедной девушке, что он догадывается о том, где эта игрушка.

– Конечно, мне не нужен этот кусок дерева, – размышлял он, – но зачем говорить неправду? Враньё – это уже серьезно. Впрочем, я не так зол, чтобы наказывать её, но проучить надо. В конце концов, это будет полезный урок и ей, и остальным. К сожалению, дни, когда надумается что-то серьезное и правильное, случаются так редко. Мало того, обязательно найдутся какие-то пустяки, которые собьют с толку. Сперва с серьёзных намерений господина Штольца сбила бутылка шампанского, потом какая-то игривая дама, ну а потом карточный стол, за которым просто не везло. Одним словом, господин Штольц приехал к утру злой и

разбитый. И единственной надеждой хоть как-то изменить отношение к самому себе был предстоящий «урок нравственности».

Он собрал всех слуг, но когда узнал, что Берта еще вчера попросилась со всеми и ушла, то ему стало как-то особенно пусто и обидно.

– Как?! – кричал господин Штольц, – как она ушла, не спросив моего согласия?! Не получив расчетных денег?! Какая легкомысленность! Какая неблагодарность!!

Слуги с удивлением смотрели на своего господина.

– Кстати, – продолжал он – проверьте, все ли в доме на месте. Может быть, у этого побега есть серьезная причина. Всё, что пропало, запишите на листок.

Господин Штольц, не раздеваясь, лег спать, а слуги занялись проверкой.

Он проснулся далеко за полдень, с тяжёлой головой и сердцем. Вокруг стояли слуги, и, протянув листок с пропавшими вещами, терпеливо ждали справедливости. Господин Штольц внимательно прочитал написанное. Оказывается, пропало очень многое: и продукты, и посуда, и платья, и драгоценности, и деньги, и лопаты, и сено. А одна выжившая из ума старуха заявила, что пропала молодость.

– Вон! – заорал господин Штольц, хотя он был человеком воспитанным, и никогда себе этого не позволял, – в-о-о-он!

Все разошлись.

Господин Штольц смял листок и подошел к столу. На столе, среди разных деловых бумаг, лежала та самая деревянная игрушка.

ГОСТЬЯ.

(ДРУГАЯ ЖИЗНЬ)

Туристов в этом маленьком приморском городке можно было определить сразу, но она была, скорее, гостем.

Господин Петерсен – хозяйин дома, в котором она поселилась, обычно не сдавал комнаты, но ей, почему-то, сдал. Позже он рассказывал, что даже сам ей предложил – неожиданно для самого себя. Просто увидел молодую женщину, которая остановилась у его дома, вышел к ней и сказал: « Если вы ищете место, где можно отдохнуть, то я могу предложить две комнаты со всеми удобствами и отдельным входом».

– Это вас не стеснит? – спросила она.

– Если – не долго, то нет – ответил он (опять неожиданно для самого себя).

– Десять дней – произнесла незнакомка и внимательно посмотрела на господина Петерсена.

«Что ей так долго здесь делать?» – подумал он. Наверно эта мысль была слишком заметна на его лице, потому что женщина сказала: – Извините, – и отвернулась, чтобы уйти.

– Ключи вам сейчас отдать, или дождаться, когда вы придёте? – громко и быстро отреагировал господин Петерсен. И это было совсем неожиданно для него самого.

Незнакомка обернулась.

– Если через два часа не приеду, то обо мне не беспокойтесь.

Она приехала через четыре часа. И все это время господин Петерсен волновался, а последний час просто стоял у ворот своего дома и курил.

– Извините – спокойно произнесла она, – ваше предложение остаётся в силе?

Незнакомка была одета в тёмное, позади неё стояла тёмная машина и, вообще, было уже достаточно темно, но на сердце у господина Петерсена посветлело...

– Вот ключи. Машину можно поставить там. Сейчас я покажу ваши комнаты. Может быть, вам помочь перенести багаж?

– Нет, спасибо.

Господин Петерсен не хотел показаться навязчивым, поэтому все формальности с поселением были коротки и сухи.

«Почему я не посмотрел паспорт?» – думал, позже, господин Петерсен, сидя на своей половине дома. – «Хотя бы узнал, как её зовут, и где она живет?»

Нет, конечно, они представились друг другу, но господин Петерсен, почему-то имени гостьи не расслышал, а переспросить постеснялся. (Опять неожиданно для самого себя).

– Ладно. Завтра всё узнаю – пытался он успокоиться и погасил свет.

За стеной его спальни находилась спальня незнакомки. Было тихо...

Но присутствие другой жизни чувствовалось.

Другая жизнь...

«Я не убрал листву, не сложил дрова, не поправил забор» – крутилось в голове господина Петерсена. Какой тут сон? Если бы не страх помешать своей гостье, он бы сейчас же кинулся наводить порядок. Но сейчас нельзя. Нельзя. Эти и другие мысли не отпускали до рассвета.

Проснулся он от звука хлопнувшей двери. Было десять утра.

«Я проспал!» – вспыхнуло в сознании. Хотя, что проспал? Кого проспал? Незнакомка просто закрыла дверь и ушла по своим делам.

Господин Петерсен вскочил, быстро умылся и принялся за работу.

Давно в нём не было столько сил. Всё получалось легко и быстро. К вечеру в комнатах незнакомки горел свет, а он даже не заметил, когда она пришла. Даже не поздоровался!

«Ладно. Завтра встану пораньше и первым пожелаю доброго утра» – успокоил он себя и пошел в пивную. День, для возможности случайно встретиться и поговорить с ней, был все равно потерян, да и усталость напоминала о себе. Одним словом, надо было просто отдохнуть.

– Что за «Вдовушку» ты у себя приютил? – не унимались любопытные.

«Да, тут не отдохнёшь!» – поймал себя на мысли господин Петерсен и вернулся домой.

Но почему – Вдовушка? Только потому, что вся в чёрном? Впрочем, в её словах и движениях действительно, была какая-то особенная задумчивость...

«Завтра надо обязательно привезти ещё дрова. И вообще, побольше топить печь» – опять крутилось в голове и не давало уснуть. – «Может быть для меня тепло, а она стесняется сказать, что холодно. Да, завтра же с утра – за дровами. Тем более, что вот-вот должны ударить морозы. И, все же, зачем она приехала?.. Ведь сейчас конец осени – совсем не туристический сезон? А, может быть, она – действительно – кого-то потеряла, и приехала, чтобы как-то отвлечься... Так – всё, надо спать!» – приказал он себе, и повернулся к стене.

Следующий день пролетел ещё быстрее, чем предыдущий, и господин Петерсен не заметил, как снова оказался перед стеной, разделявшей его и другую жизнь. Только перед тем как уснуть, он опять подумал о незнакомке.

«Может быть, она от кого-то ушла? Тогда где её вещи? И почему именно сюда? Если здесь есть родственники или близкие, то почему не к ним, а ко мне? Может быть, она скрывается?» – господин Петерсен встал, выпил рюмку коньяка – тяжелые мысли отпустили.

Завтра надо поехать в соседний город за продуктами. Нет, обыкновенные магазины были и здесь, но там, казалось, больше выбора.

За окном падал первый снег.

«Как красиво!» – вспомнились слова и голос его жены.

«Действительно – красиво!» – нерешительно удивился он. Теперь, через двадцать лет.

Да, двадцать лет назад ему было тридцать пять. Он ещё тогда работал, и работы было много.

А снег все падал и падал. Проносились картины прошлого, о которых никогда и не думал. А вот то, что хотелось вспомнить, так и не вспоминалось... Например, господин Петерсен так и не мог вспомнить – что помешало стать моряком? Хотя, кажется, кем еще можно быть в небольшом приморском городке?

И первое время он думал, что без моря умрет, но почему-то выжил...

Также трудно было вспомнить и понять – почему ушла Фрида?

Три года жили вместе. Жили как все. Он хорошо зарабатывал. Не покидал дом надолго, как все моряки. На Рождество у них был самый жирный Гусь. По крайней мере, так говорили соседи, и господин Петерсен даже гордился этим. Но через три года жена ушла...

За стеной что-то упало.

Господин Петерсен прислушался. Зашелестели листы бумаги.

«Наверно журналы листает» – успокоил он себя – «Кстати, надо составить список продуктов».

На покупки ушел опять целый день. И несмотря на то, что машине обязательно нужно было по дороге ломаться, он все же не отказался от намерения купить что-нибудь «особенное». Вдруг в какой-то день найдется повод угостить незнакомку ужином?

«Да, но сначала надо узнать, что ей нравится?» – спохватился поздно вечером господин Петерсен, глядя на многочисленные пакеты. – А как я узнаю? Ведь не подойду же я, и не спрошу: – «Скажите мне, пожалуйста: во-первых, как вас зовут? А во-вторых, что вы предпочитаете на ужин?» Да... – в конце концов, убедил себя господин Петерсен, – с ужином я, наверно, погорячился. И действительно – зачем? Это даже может показаться неприличным. Просто... завтра сложу фрукты в ящик, и поставлю этот ящик около ворот. А сам буду возиться с машиной – как будто только что приехал. Она выйдет из дома, а я скажу: – «Доброе утро! Угощайтесь!» А потом... Да – но сначала надо найти подходящий ящик!»

За стеной послышалось всхлипывание.

«Она плачет!» – дрогнуло сердце господина Петерсена – «Что случилось?! Зайти спросить? Но сейчас поздно! Лучше – завтра. Да, да. Утром встречу и спрошу о здоровье и настроении. Нет, о здоровье не надо. А то подумает – что это я вдруг о здоровье интересуюсь? Просто спрошу о настроении. А может быть и про настроение не надо?.. А то три дня не виделись, не здоровались, а после сегодняшней ночи: – «Как ваше настроение?» Она сразу поймет, что я всё слышал. Нет, нет. Просто: – «Доброе утро». И без этих дурацких фруктов! Боже мой – как болит сердце!

За стеной всхлипывания прекратились, но было как-то беспокойно. Казалось, что незнакомка подавила в себе плач, и пыталась глубоко вдыхать и выдыхать – чтобы слезы не вернулись.

«Бедная!» – подумал господин Петерсен – Она, наверно, действительно вдова. Молодая вдова...»

Он не спал до утра. Что только не вспомнилось за эту ночь. Фрида. Его Фрида была, наверно, тогда такой же молодой как эта Вдовушка. Почему она тогда ушла? Как она теперь? Какая?

После того, как они расстались, он о жене ничего не знал.

Каких только разговоров не было после её внезапного ухода! Но всё-

это были глупости, в которые господин Петерсен верить не хотел. Однако и истиной причины ухода он тоже не знал.

Ждал долго.

Ждать в этой стране умеют.

Единственное чем, в конце концов, успокоился – это тем, что Фрида жива.

Раз её родители молчат, значит жива. И если они до последних своих дней продолжали с ним здороваться – значит, она счастлива.

Но потом не стало отца Фриды, а через месяц её матери. Старики ушли также незаметно, как и жили...

Впрочем, кто знает, как жили другие люди?

Кто знает – как живёт Фрида?

За окном стало светать. Господин Петерсен поставил кофе.

Есть в ожидании утренней чашки кофе ощущение чего-то нового. Вернее, оптимистический настрой на что-то новое. Единственная, приятная повторяющаяся глупость.

За стеной послышался шум. Незнакомка или рано проснулась, или тоже не спала.

Через некоторое время кто-то постучал в дверь. Сердце господина Петерсена сжалось.

Перед ним стояла знакомка.

– Вот ключи. Спасибо вам! У вас было хорошо, но мне надо ехать. Прощайте.

Господин Петерсен был так растерян, что даже не успел ничего ответить. Только кивнул головой, и зачем-то протянул руку, хотя знакомка была уже в машине, и машина медленно удалялась от дома.

«Номера! Номера! Надо запомнить номера! – ураганом закрутилась мысль в голове, – Хотя зачем мне номера? Что мне эти номера? Ведь не поеду же я её искать! Кто я такой? И – вообще – зачем все это?»

Господин Петерсен некоторое время не был в состоянии собрать мысли. «Бедная вдовушка. Номера. Доброе утро. Зачем все это? Как вас зовут?» – продолжало крутиться в голове, пока не улеглось в одну мысль – «Она обязательно что-нибудь забыла, и сейчас вернётся!».

Он вбежал в её комнату. На столе лежало письмо с неровными буквами и следующим содержанием:

«Дорогой господин Петерсен, простите меня. Я была не в себе после потери мамы. Уже полгода как её нет, но её желание вернуться сюда, наверно, передалось мне, и все это время не давало покоя.

Сама она приехать не могла, или вернее, не хотела. Помню, каждый раз она как будто отговаривала себя словами – «Зачем, зачем...».

Но рассказывая вам все это, мне бы не хотелось вызвать у вас жа-

лость ни к моей маме, ни к себе. В конце-концов она прожила жизнь так как хотела, да и у меня всё хорошо.

Я не ваша дочь – мой отец, слава Богу, жив. Просто... Просто мне, почему-то, так хотелось рассказать то, что я слышала от мамы. То, что я слышала о вас... Но кто я вам? Никто. Поэтому, действительно, – зачем? Простите меня, еще раз. Прощайте»

ПАДАЛ СНЕГ

Зима. Вечерний город. Падал снег.

Падало всё: надежды, силы, смысл.

Шли мужчина и женщина.

Хрустел под ногами снег. И слова были ни к чему. Так ей казалось. Так ей хотелось.

«Только бы он молчал. Только бы молчал».

Но по его напряжённому шагу чувствовалось, что он ищет что сказать.

– Андрей! Пожалуйста. Не надо.

Он успокоился. И даже, устыдился. Раньше минуты молчания не казались пустотой. Как всё изменилось. Как изменилась она. Как изменился он.

А снег падал и падал...

Оставшиеся два месяца пролетят так же быстро. А что потом? А потом её просто не станет. Так говорят врачи.

– Я люблю тебя!

– Андрей, пожалуйста.

И снова тишина, хруст снега, и мысли, мысли...

Год назад ей удалили грудь, но болезнь продолжала сжигать.

Как незаметно сгорел год. Для обоих.

Хлопья снега были такими крупными, что любой оставленный след уже через минуту терял свою форму, а через три исчезал вовсе.

Дорога закончилась домом.

Ступени – квартирой, прихожая – постелью.

– Андрей, выключи свет.

– Мне это не мешает.

– А мне мешает. Пожалуйста.

Он выключил свет и лег.

Она разделась и тоже легла.

Каждый на своей стороне. И каждый со своими мыслями.

– Господи, как я устал – думал он, – третий год больницы, лекарства,

слёзы. Третий год играть, что всё будет хорошо. Жалость – унижительна.
Радость – искусственна. Время – бессмысленно. Бессмысленно всё.

– Андрей.

– Что?

– Я люблю тебя.

ВЕРА ФЁДОРОВА

Стихи для детей

ПРО КОРОВУ И РОМАШКИ

(СКАЗКА)

За речкой, где сочные травы на поле,
живёт в светлом домике тётушка Поля.
У тётушки есть небольшой огород,
в котором почти ничего не растёт.

Ни лук, ни чеснок, ни укроп, ни редиску
вы здесь не увидите, даже и близко.
Для тётушки Поля милее цветы,
они, как надежда, любовь и мечты.

Как белые облачки или барашки
на грядках у Поля теснятся ромашки.
Внимательно Поля за ними следит,
прозрачной речною водою поит.

Смеются над Полей соседи немножко:
«Уж лучше б она посадила картошку!»
Но Поле с ромашками жить веселей,
и нежно цветы улыбаются ей.

Ещё есть у Поля корова Росинка,
не просто корова, а просто картинка:
Блестящая шерсть, терракотовый цвет –
в деревне коровы красивее нет.

Хозяйка и моет её, и ласкает,
голубит и нежит, – души в ней не чаёт.

И любит Росинка хозяйку свою,
а вместе они составляют семью.

Под вечер корова вернётся с прогулки,
у Поля готовы и каша, и булки.
Умелые руки танцуют легко,
и музыкой льётся в ведро молоко.

Родною для тётушки стала корова,
забота и радость, и жизни основа:
творог и сметану, и сливки, и сыр,
и масло Росинка даёт, и кефир.

По утру, чуть свет поднимается Поля,
Росинку пастись отправляет на поле.
Корове раздолье – трава зелена,
и любит цветы полевые она.

И розовый клевер, и белые кашки,
но больше всего полюбила ромашки.
Попробуйте сами такие цветки,
как будто из сахара их лепестки.

Однажды корова, гуляя на воле,
соскучилась сильно по тётушке Поле.
Не справившись с этой коровьей тоской,
решила она возвратиться домой.

Но надо ж такому случиться, что Поля
к соседке ушла, не хватило ей соли.
Надумала булки испечь, как всегда,
да соль опрокинула... Будет беда!

Росинка приходит. Калитка открыта,
стоит возле дома пустое корыто,
Висит на верёвке, качаясь, бельё...
Где тётушка Поля? Не видно её.

Гуляет корова одна в огороде,
хозяйка сегодня она на угодье.

Вот грядка большая чиста и бела,
как будто сугробы метель намела.

Что стало с коровой? Забыла про поле,
про клевер и кашку, про тётушку Полю.
Как дети варенье, глоток за глотком,
ромашки слизала она языком.

Конечно, и вкусно Росинке, и сладко,
как будто корову ждала эта грядка.
И весь этот радостный тётушкин труд
сжевала она за пятнадцать минут.

А Поля, представить вы можете сами,
вернулась домой и всплеснула руками,
и слёзы у Поли текут в три ручья.
Все вместе: беда и вина здесь... Но чья?

И если про соль вы слышали примету,
то в сказку, конечно, поверите эту.
Хоть горе у Поли сейчас велико,
зато от ромашек белей молоко.

ТРИ РАЗНЫХ ГЛАЗА

Чтоб пройти через дорогу,
Нужно знать совсем немного:
Людям служит с давних пор
Умный, строгий Светофор.

Он стоит у перехода
И следит за пешеходом.
Если смотрит Красный глаз,
Значит, путь закрыт для вас.

Если Жёлтый – не спешите
И спокойно подождите.
А Зелёный глаз горит,
Это значит – путь открыт!

СЕРДИТОЛОГ

Мне рассказывал приятель:
– Есть один изобретатель –
сердитолог-врач. Так вот,
он создал прибор «Доброт».

Даже есть статья в газете,
Что и взрослые, и дети
К сердитологу идут,
И с собой они берут:

Хмурки, зависть, злость в избытке,
Всё, что названо – сердитки.
Три сеанса – и «Доброт»
Все сердитки уберёт.

Нам оставит он улыбки
И, скажу вам без ошибки:
– Жить в добре, а не во зле –
Будет мир на всей земле!

ГАЛИНА ФИРСОВА

СТИХИ...

Стихи – это мысли, стихи – это птицы,
Которым не терпится ввысь устремиться.
То явь созерцают, то в прошлом блуждают,
То сладкой мечтой в вышине замирают.

И мягким мазком или острою спицей,
Созрев, наша мысль на бумагу ложится.
Стихи о природе, стихи о погоде,
О близких друзьях и о целом народе.

В них радость и грусть, и тоска, и смятенье,
О жизни сужденье, любви озаренье...
И что из того, что не всем интересно,
Им тесно в душе, понимаете, тесно!

Они беспокоят и рвутся в дорогу,
Им выплеснуть хочется боль и тревогу.
И крылья о прутья стальные ломают...
Откройте им клетку, пускай улетают.

МАМЕ

Часто мама, как добрая фея,
В сны приходит ко мне по ночам.
Прижимаюсь, как в детстве, млея
К её добрым надёжным плечам.

Затаив дыханье, не скрою,
Вижу жизнь её наяву...

Я «Магнитку» с ней вместе строю,
В Комсомольске, в палатках живу.

Все четыре военных года,
Как в аду, в мясорубке людской.
Страх и боль! Но за маму – гордость.
Мама рядом. На сердце покой.

Безмятежность недолго длилась.
Девять лет – и сиротский виток.
Жизнь нелёгкая надломилась,
Влив в меня своей силы глоток.

Как бурьян я росла, без полива
И рвала паутину ветвей,
Груз ошибок несла терпеливо
И растила своих сыновей.

А теперь мы живём в Берлине,
В чуждой, мама, тебе стороне.
Только фильмы да книги ныне,
Не дают нам забыть о войне.

С твоим внуком бываем в Рейхстаге,
И пытаемся след твой найти.
А над нами немецкие флаги.
Мама, мама за всё нас прости...

Я смотрю здесь, как в Трептов-парке,
Возвышается русский солдат,
Где по краю, в могилах братских
Боевые друзья твои спят.

А в стране, чьей судьбою гордились,
За которую кровь пролилась,
Там, где наша жизнь зародилась,
И так рано, увы, прервалась,

Где мужала ты и любила,
Свято веря в реальность мечты,

Там, на месте таоей могилы,
Беспризорные вянут кусты.

Жёлтых роз букет я сжимаю
И не вижу, куда возложить...
Слёзы льются, мне больно, – знаю,
Что такое нельзя простить.

Но не зря ты жила ты на свете,
Твои корни побеги дают.
Подрастают у внуков дети,
И тебя они знают и чтут.

Не сломить нас житейским будням,
Мы преграды сметаем с пути...
И дрожащие шепчут губы:
«Мама, мама, за всё нас прости!»

ДВОЕ

Однажды на скамейке
сидели в парке двое.
Осенний ветер змейкой
заигрывал с листвою.

С улыбкой провожает
она на запад тучки.
Он прутиком играет
рисуя закорючки.

«Что это означает?» –
спросила, улыбаясь.
«Я сам того не знаю» –
ответил он, смущаясь

«Вот майский жук, – как искра
среди травы сверкает».
«Нет, майский жук так низко, –
сказал он, – не летает»

Всё было интересно,
легко и беззаботно.
«Придёшь на это место?»
«Приду сюда охотно».

Тянулись дни несмело,
рисунок ветер смазал.
Скамейка опустела.
«Ну, где ты, сероглазый?»

Ей стало очень грустно,
она ведь понимала,
что без него здесь пусто
в уютном парке стало.

Ждала, с надеждой глядя.
Эх, знать бы ей причину!
Всё просто – детский садик
сменила мама сыну.

НОРА ГАЙДУКОВА

ПИТЕР – 2009

Мала я и вишу на волоске.
И жизнь моя похожа на загадку.
Качается, дрожит в моем зрачке,
Словами падая в затёртую тетрадку.

Свисают надо мною провода.
Внизу безумно плятятся машины.
Грозит заледенелая вода,
Шуршат неостывающие шины.

Здесь – пачки непоплаченных долгов,
Там отчего-то сыплются проклятья.
Безумья хаос, тяжести оков.
И в этом страшном мире –
Поиск счастья...

ЦФАТ

Кошачий город Цфат.
Утешься розами.
Несут порывы ветра терпкий запах.
Настурция алеет, –
Напиток горький жизни
Запей вином кошерным сладким.

Бессмертны кошки Цфата.
Загадочные мини-каббалистки.
Не в них ли переселились
Души мудрецов.

Раввин великий
Спит сном спокойным
На горе Мирон и охраняет
Город молчаливых иудеев .
В тех черных одеяньях.
Их дети не глядят на посторонних,
Как будто их не видят.

Два мира в Цфате
Не смотрят друг на друга.
Мир дневной, пронизанный
Томительными запахами сосен,
И цветов,
Где даже днем услышишь соловьев.

Шоссе, машины, рынок –
Суетливый туристский рай
С обильем декораций.
Галереи – картины беспомощно
Пытаются быть зеркалом
Дневного и ночного мира,
Но это невозможно –

Мир ночной не поддается
Вашему сознанию.
Темны одежды, переплеты книг.
Могилы мудрецов.
Тфиллин и свитки торы.
И лабиринты снов.
Закрытый мир Закона,
Шесть тысячелетий
Ведущего народ
Из нового египетского плена.
Мессии тень
И мертвые из тлена восстают...

Переплетенье дня и ночи
Добра и Зла.
И Вечности покров.

СТАЯ

Боимся отбиться от стаи.
Друг друга за руки хватаем.
Готовы прогнуться, солгать и предать,
Лишь бы со всеми,
Мне бы одной не остаться,
Без стаи так страшно,
И можно совсем пропасть.

Что стая велит, надо делать.
Без стаи – безумная смелость,
А стая не знает предела.
Сжирает и душу, и тело...

А что же ещё ты хотела?

СОЖАЛЕНИЕ

Сожаление нас терзает
Мучает по ночам
Несбывшимися надеждами,
Неиспользованными возможностями,
Несложившимися контактами,
Несказанными словами
(Или брошенными невпопад).

Сожаление нас подстерегает,
Хочет подставить ножку,
Кривую избрать дорожку,
Споткнуться о черную кошку,
Лишь бы схватить немножко,
Ну, хоть самую малость,
Того, что прежде (увы!) не досталось...

НОЯБРЬСКОЕ

*«Ностальгия бывает в первую очередь пищевая»
(из научных исследований эмиграции)*

Седьмое ноября: по памяти пройду
По Невскому, и подойду к Дворцовой.
Найду скамью в заснеженном саду,
И в старом доме окажусь я снова.

Теперь Берлин положен на весы.
Все дальше наша милая Россия.
Как равнодушно тикают часы.
Они встречали «праздники» другие.

«Хрустальной ночью» кончился тандем
Совместной жизни немцев и евреев.
Что было дальше – кровь, погибель, тлен.
Никто забыть о том уж не посмеет.

Для немцев – дни Падения Стены.
Они страдают собственной болью.
Мы тайно грустим в такие дни
И вспоминаем русское застолье.

Для нас Стена – чужой недобрый миф.
А на «ноябрьские» мы пили водку.
Маячит вдалеке солёный гриб.
«Под шубой» подают на стол селёдку.

Седьмое ноября – друзья, враги,
Всё за стеною времени осталось.
Неси, хозяйка, к чаю пироги –
От прошлого потерянного малость.

ПРИНЦ

Девочки в подземке мечтают о принце.
Сидят с неприступными лицами.
В антураже по молодежной моде.

Ни на кого не смотрят,
Погрузившись в свой Ай-Пот.

Ждут кого-то, кто шепнет в наушники,
Когда в вагон войдет принц,
Тот, что вчера приснился.
И тогда она подарит ему
Такой взгляд из-под накрашенных ресниц!..

Ну, отзовись же! Ау-у!
Где ты, принц?

ДЖОГГИНГ

Занятие одиноких.
Признаться не хочется,
Или с собакой пройтись?
Нет, зачем же, с собакой
Так много хлопот.
А тут только плеер
И старая майка...
Я бегу, понемногу
Побеждаю пространство.
Берег Шпрее, Тиргартен,
Дворец всех культур.
Солнце, ветер,
Здоровое тело.
Мысль мелькнула –
Пробежаться вдвоем?
Ах, зачем портить джоггинг
Ненужной беседой...
Безучастно и строго
Мы бежим,
Пока слушают ноги...

КОШКА

Я – кошка. Гуляю сама по себе.
Я – старая, мудрая кошка.
Могу промякать ваш путь по судьбе,
Вот здесь, не слезая с окошка.

Я – кошка, люблю свой уютный диван,
Но и любопытна немножко.
Я знаю, что все здесь притворство, обман
Все суетно, мелко и ложно.

Я кошка, случайно в обличьи людском,
И, спрятав свои коготочки,
Ночами кошачьим забудусь я сном,
Людские сорвав оболочки.

Но если весною по крыше пройду,
На мягкие лапки ступая,
Я с неба достану любую звезду-
Кошачья природа такая.

ЧЕСТОЛЮБИЕ

Честолюбие нас съедает.
Толкает к себе подобным,
И к стремленью их растолкать.

Голосуй за меня!
Я самый лучший!
Самый умный!
Самый успешный!
Самый милый
И самый потешный.

Честолюбие светится в Интернете
На сайте литературы.
Где-то люди счастливые,
Выпив в лучшем случае стакан спирта,
А в худшем – стакан политуры.
А вы их мучаете новинками литературы.

Сами о себя споткнемся.
На беду забудем о самом важном.
Падают белые листки в никуда,
В мире виртуальном, в мире бумажном.

ЕЛЕНА ЯМОВА

ДВЕ СКАЗКИ

КАПЕЛЬКА

Жила то на Земле, то на Небе маленькая Капелька. Возвращаясь из очередного путешествия с Земли на Небо, она гостила у своей бабушки – старой Тучи. Бабушка жила на бесконечном небосводе последние сто лет где-то слева от Солнца и справа от Луны. Капелька любила бывать также у бабушкиных родственников, – белых, кудрявых Облаков. Не любила она посещать свою тетушку грозовую Тучу, особенно когда приходил к ней дядюшка Гром со своей дочерью, Молнией. Она пугалась и старалась всякий раз побыстрее убежать от них. Дядюшка часто спорил с Молнией, гремел, та отвечала ему, метая в разные стороны яркие огненные стрелы. Испуганная Капелька превращалась в Градинку или большую Каплищу и неслась от них к земле. И вместе с ней множество таких же испуганных сестричек летели вниз, распугивая и разгоняя все живое на своем пути. Когда Капелька падала и больно ударялась обо что-нибудь, разлеталась в мелкие брызги, сливалась с другими капельками, бежала дальше уже звонким весенним ручейком или жила в большой осенней луже. Иногда отдыхала в летнем пруду, слушая неугомонные песни лягушек. Иногда плавала в море, заносимая в открытый океан, была ароматной росинкой, жившей в лепестках душистой розы, или в канавке на скотном дворе. Она была желанной и живительной, порою, губительной и разрушительной, нежной и снежной. Уж сколько она повидала на своем пути, трудно сказать...

Бабушка, седая Туча, охотно выслушивала рассказы Капельки, давала советы, рассказывала о разных уголках Планеты и показывала ей их. А когда седина бабушки Тучи усиливалась, маленькая Капелька превращалась в ажурную красавицу Снежинку.

Она любила бывать Снежинкой! Однажды она прилетела в какой-то город. Где в ночи долго кружила над ним, паря над старой ратушей, над черепичными крышами уснувшего города и лишь под утро, заглянув в окно, увидела маленького мальчика, который ждал её. Он махал ручонкой. И кри-

чал, что идёт снег, а потом он вместе с другими детьми слепил снежную бабу, где была и она – снежная Капелька, и все потом любовались ей...

С нетерпением ждала, когда наступит время летать, парить и кружить. Она вспомнила, как однажды девочка, увидев красавицу Снежинку, восхищалась и рисовала её. Она сидела на подоконнике, преломляла лучик солнца и сияла, как крохотный, драгоценный камушек, заглядывая в окно, где дружная семья наряжала ёлку. А ещё она умудрилась сесть на ус сидящему на заборе коту, тот фыркнул так, что они вместе свалились в сугроб! Ох, как это было смешно!

И теперь, когда пришло время, она попрощалась с любимой бабушкой Тучей и медленно полетела вниз.

«Как хорошо быть снежинкой и как редко я ею бываю!» – думала она, кружа, витая где-то между небом и землей. Потоки холодного ветра несли её в не изведанную даль, она порхала, возносилась ввысь, потом, вновь наслаждаясь полетом, летела дальше, не замечая ничего вокруг. Но неожиданно её подхватило сильным вихрем и понесло куда-то, и вдруг, она заметила очертания знакомой ратуши. Она пронеслась мимо неё. Снежинка вспомнила мальчика и обрадовалась, что увидит его снова. Она стала искать тот дом и то окно. Она увидела то окошко, где ждал её маленький мальчик, но никого в окне не было и окно стало каким-то другим. «Как это окно похоже на то! Неужели я ошиблась? Ах, как жаль, что оно зашторено! Я бы точно узнала его» – подумала она. Но вдруг кто-то одернул в сторону штору и там за стеклом стоял седой старичок.

– Опять этот снег! Безобразие! – сказал он, – снова будет скользко. Порыв ветра приподнял снежинку, она увидела – глаза того мальчика. – Как! Это он?! – закричала Снежинка. И вдруг Старичок отворил форточку, порыв ветра увлек снежинку за собой, она не заметила, как прикоснулась к его теплой щеке и превратилась вновь в капельку. « Как неожиданна и коротка жизнь», – подумала она...

НЕЗАБУДКИ

Была тихая безоблачная ночь. Бледная луна излучала тусклый свет. Она смотрела на планету иссохшими кратерами потухших глаз и не могла выдавить из себя даже крохотной слезинки. Внутри всё клокотало, её сердце разрывалось на части от безысходности. Она все время думала, что можно изменить и ей становилось еще грустнее. Она снова впала в раздумье, как вдруг, с восточной стороны, мимо её глаз пронеслось нечто и, заглянув в глаза, сказало:

– Чем ты опечален, о светлый лик?

От неожиданности Луна вздрогнула, её никто так прежде не называл, она испуганно спросила:

– Ты кто?!

– Я?! – задумалось нечто, – я маленький Астероид, а кто ты, о, светлый лик и почему так грустны твои глаза?

– Я – печальная Луна, – ответила она.

– Взгляни, сколько ярких звезд вокруг и все они веселы, – сказал Астероид, осмотрев её бледный лик, – в чём же печаль твоя?

– Это длинная история, – тихо ответила Луна.

– Поведай её мне, – попросил Астероид, – может быть тебе станет легче и я смогу чем-нибудь помочь.

– И ты выслушаешь мою длинную историю, чтобы помочь мне? – с сомнением спросила Луна.

– Да, я готов её слушать тысячу, а может и две тысячи лет, у меня много времени и я постараюсь быть тебе полезен...

– Тогда я начну, – сказала Луна, – у меня не так уж много времени. И она поведала свою историю.

Когда-то я была чуть больше тебя и летела, как ты, в бесконечную неизвестность, потом произошел какой-то взрыв или ещё что-то, я честно сказать, и не помню, да не в этом суть. Я стала спутником этой планеты и была рада такому превращению. В моей жизни появился смысл, я могла влиять на неё и видела, как зародилась там жизнь, как она развивалась, а потом... Луна замолчала

– А что же было потом? – спросил с любопытством Астероид.

– Потом, я стала заглядываться на звёзды. Я думала, что все звезды одинаковы и добры. Старалась стать такой же большой и красивой, как они. Я подросла, вела беззаботную жизнь и не предполагала, что своим телом закрываю благодатный свет звёздам, несущий добро и сочувствие, уважение и усердие, трудолюбие и самоотдачу, а сейчас там осталась лишь одна маленькая голубая звёздочка, которая дарит ещё свой свет, но он не достигает планеты, так как я заслоняю его. Скоро и её энергия иссякнет, и она погаснет, потому, что из-за меня она не видит маленьких человечков, не чувствует тепла их сердец. Посмотри туда, когда-то эта планета была цветущей, а маленькие человечки были не такими, как сейчас. Здесь росло множество цветов, они ухаживали за ними, лелеяли их. Потом, когда я стала большой и красивой, они, любясь мной, забыли о цветах, о жизни и обо мне. Когда стали гибнуть цветы, я плакала и поливала цветы слезами. Но слезы иссякли и я попросила ветер, чтобы он подул и сдвинул меня с места, чтобы свет маленькой звезды, которую я закрываю, вернул и возродил в них всё положительное. Но я стала настолько большой и тяжелой, что ветер сдвинул меня лишь слегка, и свет

этой звезды достигает планету только утром, когда человечки уже спят. Вот почему я так печальна.

– А что они делают ночью, если днём спят? – спросил Астероид.

– Ночью они любуются звёздами, – ответила Луна, – находят новые, дают названия им, теперь у нас есть созвездие кактусов, грозди рябины, ветвь орхидеи.

– Но в этом нет ничего плохого, – ответил Астероид.

– Так только кажется. Взгляни на ту жёлтую звезду, что в созвездии Роз, – сказала Луна, – они называют её Астра-Роза, любуются ею, но совсем не знают, какой на самом деле свет излучает она, они и не предполагают её истинного имени.

– И как же зовётся эта звезда? – с ещё большим любопытством спросил Астероид

– Безразличие, – шёпотом промолвила Луна

– А другие?

– Коварство, Безделье, Черствость, Легкомыслие – таких звезд много, – грустно сказала Луна, – и все они большие и яркие.

– А как называли они ту маленькую, голубую звездочку, которая может погаснуть? – сочувственно спросил Астероид.

Та маленькая, голубая звездочка зовется Незабудка. А на самом деле эта звезда Добра. Но они забыли, что это значит. И только добро сможет восстановить все иссякшие и забытые добрые чувства. И теперь они только и делают, что спят и смотрят на небо, и в этом повинна я. Я готова умереть, лишь бы до них дошел свет утасяющей Незабудки.

– Теперь мне понятна печаль твоя. Ты, правда, хочешь помочь им? – спросил Астероид.

– Да! Я готова к смерти, чтобы спасти их, превратиться в комету и сгореть, лишь бы все стало, как прежде.

– Я слушал внимательно твой рассказ – уже с грустью сказал Астероид, – и он придал мне силы, я помогу, но ты погибнешь.

– Я готова – радостно ответила Луна, её глаза заблестели, как ни когда прежде. А что сделаешь ты? ...

– Я? Я просто разгонюсь. ударю и разобью тебя, и ты превратишься, может быть в комету или метеориты, а может, в пыль, – я не знаю.

– Но что же будет с тобой, – с ужасом сказала Луна, – ведь ты умрёшь тоже!

– Ну и что, я рано или поздно погибну, во всяком случае, в моей смерти будет смысл, мы спасем их. – Астероид посмотрел на человечков, и продолжил: – Мы не дадим погибнуть их незабудке. Решайся же! – сказал Астероид и полетел вокруг планеты, набирая скорость.

– Я согласна, – крикнула вдогонку посветлевшая Луна.

Уже начинало светать, и маленькие человечки крепко спали. Беззаботно и безмятежно. Они не слышали сильного взрыва и не видели яркой вспышки света, а если бы и услышали и увидели, то всё это было бы им безразлично. Когда они проснулись и взглянули на ночное небо, то не заметили луны. Им было всё равно. Но вдруг кто-то из них сказал:

– Посмотрите! Расцвели новые цветы! – соцветиями незабудок было усыпано все небо. Их нежно-голубой свет разливался по всему ночному небосклону. Как красиво! – сказал кто-то и расплылся в улыбке, – В наших садах когда-то росли такие же цветы, – сказал другой маленький человечек.

– Это же Незабудки! Мы вспомнили их! – закричали они.

Маленькие человечки искали цветы в садах и лесах, но видели лишь сухую траву да увядшие цветы и деревья. Тогда они стали поливать, рыхлить землю.

Дружно трудились всю ночь и день и еще несколько ночей и дней, и когда привели свою планету в порядок, вновь взглянули на ночное небо. И увидели, что на месте Луны висит тоненький серп, расплывшийся в улыбке. Это была их Луна, но они еще этого не знали. Они пожелали друг другу спокойной ночи, и радостно побежали спать.

А когда утром проснулись, кругом голубели незабудки.

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Торчат деревьев сухожилия,
Осыпались все листья в срок.
Лес оживляют только крылья
Болтливых соек и сорок.

Сосновый лес суров и мрачен:
Прут в небо голые стволы;
На туче контур обозначен
Сосновой шишки и иглы.

Поля унылы и постылы,
Трава пожухлая черна;
В дождях и ветре всё простыло,
Не сыщется птица и зерна.

Горьки осенние утраты,
Приобретения и сны.
Грусть поздней осени – расплата
За буйство лета и весны.

ДОРОГА

Тень поезда скользит по снегу,
Как бесконечная змея,
И в такт размеренному бегу
Тихонько напеваю я.

О первой и последней встрече,
Разлуке, грохоте колёс...

Романс печалью душу лечит,
Так спокон веку повелось.

Всё ниже солнце. Вырастая,
Тень не похожа на змею...
Тяжёлый лёд на сердце тает –
Вот и отпел я грусть свою.

* * *

В години войн и потрясений,
Когда повсюду льётся кровь,
Лишь вы даруете спасенье,
Надежда, вера и любовь.

Когда негодяй процветает и плут,
Когда торжествует невежда,
В борьбе нас поддержат и силу дадут
Вера, любовь и надежда.

Сквозь сомнения, ложь и муть
Пробирается жизни галера,
И укажут нам правильный путь
Любовь, надежда и вера.

* * *

В палитре осени есть яркожёлтый цвет.
Пронзительней на свете цвета нет.
Когда люблюсь этим цветом я,
Ясна мне суть земного бытия.

* * *

Писатель, не читай других!
Зачем читать того, кто пишет хуже?
А что до тех, кто пишет лучше, их
Ты тоже не читай, чтоб не тревожить душу.

* * *

Когда выбираешь жену иль арбуз,
Тебе не помогут ни опыт, ни вкус.
Все внешние признаки врут, как назло.
Рискни и молись, чтоб тебе повезло.

* * *

Мы не хозяева мыслей своих,
Они появляются сами собою.
Порой мы их гоним, нам стыдно за них,
Но не зачеркнуть непонятого сбоя.

* * *

Доверяйте своей интуиции
И не бойтесь импровизации,
Позабудьте смешные амбиции
И не верьте аргументации.

* * *

Всё плохое было хорошим,
И это, увы, не шутка.
Когда-то был ангелом дьявол,
И девочкой – проститутка.

* * *

Ты – жизни моей путеводная нить,
Мы связаны общей судьбою.
Удваивать радость и горе делить
Легко мне, родная, с тобою.

* * *

Я старался быть честным с людьми и с собой,
Я начальству не льстил, не лукавил с судьбой.
Ну, а если порою сбивался с дороги,
Знаю, небо простит мне нечаянный сбой.

ИННА ИОХВИДОВИЧ

ЭФФЕКТ ПЕРЕЛЬМАНА

Светлана Ивановна Челомбитко начала работать в милиции сразу после окончания ею пединститута. Покойный родственник туда устроил: сначала в детскую комнату милиции, работать с трудными подростками; после уж пошла она, как сама говорила – по «канцелярской линии»: работала в паспортном столе, а последнее десятилетие в ОВИРе, опять же в районном, городском, а нынче уже и в областном отделе. И хоть званиями её не баловали, была всего лишь капитаном, а не майором, как ей самой по-справедливости представлялось, да что уж делать, не юридический же она закончила, и не школу милиции... А учёбой некогда ей было заниматься, даже на вечернем или заочном, сначала за муж по любви за хорошего человека пошла, потом и сынок родился...

Зато на работу ходила она с удовольствием, ещё в паспортном ей понравилось, а в ОВИРе и того лучше показалось. Подчас случалось и такое, что и уходить со службы вечером домой не хотелось. Дома-то скучно было, всё одно и то же, муж любящий, во всём помогающий, сын-отличник, подраставший и всё более от неё отдаляющийся, со своими интересами и своими друзьями... То ли дело было днём на службе, особенно в приёмные часы.

– Наверное, моё призвание в работе с людьми, – сказала как-то Светлана Ивановна мужу.

– Да, ты у меня знаток человеческих душ, – шутливо заметил он.

– И это правда, – не шутливо, а серьёзно согласилась жена, и подумала: «Особенно еврейских!» Тогда же она может быть и впервые, задумалась о своём, сложном, отношении к этой нации.

В детстве, по-соседски, а потом и все десять лет в школе, лучшей Светиной подружкой была Лена Иоффе. Практически девчонки не расставались, встречаясь каждый день, и проводя вместе время. Светины родители были довольны этой дружбой, в смысле девичьей безопасности. Девочка как-то слыхала, как мать говорила отцу: «Вот и хорошо,

что наша Света с этой Иоффе дружит, по крайней мере, не пьющие они люди, и не гулящие, плохому там не научится, недаром же евреи». Ей неприятно стало, что мать называет и Лену и её родителей таким будто бы плохо звучащим словом – «евреи». Каждый раз, как мама произносила это слово, девочке, а потом и девушке становилось не по себе, словно дружба с Леной была чем-то постыдным, что ли. И не только Лена, но и её родители, отец – дядя Сеня-фотограф и мама – тётя Сима, работавшая библиотекарем в районной библиотеке, очень нравились Светлане, они всегда были гостеприимными и приветливыми. Правда, после школы пути их разошлись. Лена поступала в консерваторию по классу фортепиано, и не поступила, а пошла в музучилище, а Света сразу поступила на филфак пединститута. И видеться стали они всё реже, пока не перестали совсем, так, изредка, по праздникам по телефону поздравляли друг друга.

А встретиться пришлось через много лет, когда Светлана уже в районном паспортном столе работала.

Поздней осенью замещала она заболевшего начальника. К ней, в кабинет начальника и привёл дежурный женщину с опухшим от слёз лицом. Светлана ахнула, узнав в этой женщине Лену Иоффе.

– Что, что случилось? – только и смогла спросить она бывшую подругу.

Та, видимо не узнавая в женщине в милицейской форме свою Светку, пролепетала.

– Меня из поликлиники к вам послали, чтобы вы выдали мне форму один, так, кажется, называется, – женщина не могла говорить от душившего её плача.

– Лена, – схватив её за плечо, почти закричала Светлана Ивановна, – Лена, я же тебя спрашиваю, что случилось? Ты мне можешь толком объяснить?

Та, по-прежнему не узнавающе глядя на Светлану Ивановну, проговорила.

– У меня умер папа, – и она снова заплакала.

– Как? Дядя Сеня умер, – изумлённо-горестно прошептала Светлана Ивановна. И только тогда заплаканная женщина, взглянув на неё, сказала:

– Света, это ты? Это правда, ты?

– Я, я, кто же ещё, – говорила сквозь слёзы Светлана Ивановна, она плакала горько и по дяде Сене, которого помнила ещё ребёнком, и по дорогим воспоминаниям детства и отрочества, по юношеской, прошедшей своей поре, по себе самой, исчезнувшей в сумраке прошедших лет...

Оказалось, что у дяди Сени в последние годы его жизни не было паспорта, вместо него ему выдали временное удостоверение личности, до

получения паспортов нового, уже несоветского образца. А когда появились новые паспорта, то дядя Сеня уже был прикован к постели, и Лена, работавшая в музыкальной школе да бегавшая по частным урокам, как-то всё откладывала на «потом» вопрос о получении отцом полноценного документа. К тому же и само удостоверение оказалось просроченным.

Теперь в поликлинике ей не выдавали свидетельства о смерти, потому что отягчающим обстоятельством явилось и то, что уже два года ныне покойного не осматривал врач из поликлиники. Лена доказывала им, что к отцу ходил врач-частник, который его и наблюдал. Нет, качала головой заведующая терапевтическим отделением, он, дескать, мог умереть и насильственной смертью...

– Ваша квартира ведь в историческом центре города, вы, может быть, и пытались ею завладеть, – продолжала говорить заведующая, не глядя на плачущую, не в силах ей что-либо возразить, Лену.

– Вот мы и передадим дело в прокуратуру, – теперь она выразительно посмотрела на сидящую перед нею женщину, – на предмет того, была ли смерть беспаспортного гражданина Иоффе Семёна Ароновича вызвана естественными причинами или насильственной. После этого, а можете прямо и сейчас оформлять в милиции форму номер один. А после того, как получим заключение судмедэкспертизы и форму один, тогда и выдадим вам свидетельство о смерти. Вы меня поняли?

Обо всём этом и рассказала несчастная женщина Светлане Ивановне. Той было не впервые слышать подобное. Она приобняла Лену и сказала:

– Эх ты, недотёпа, она ж хочет, чтобы ты ей заплатила, только и всего!

– Как, она вымогает взятку? – с каким-то ужасом воскликнула Лена.

– Ну, уж ты так это по-газетному озвучила, – несколько раздражённо проговорила Светлана Ивановна.

Она обогнула стол и сев в кресло начальника, которого замещала, набрала какой-то номер.

– Алло, это заведующая первым терапевтическим отделением? С вами говорит исполняющая обязанности начальника паспортного отдела Киевского райотдела милиции старший лейтенант Челомбитько Светлана Ивановна. Да, да, я в курсе, форма номер один нами будет выдана, правда без актуальной фотографии. Что, что? Как это вы не можете? А вы что предлагаете делать актуальную фотографию с покойника? Знаете что, если человек болел долгие годы, то ясно и без экспертизы и прокуратуры от чего и почему он умер! Это вы мне мозги не компостируйте! Я-то знаю, почему вы дочь покойного решили загнать в «пятый» угол! К нам уже сигналы поступали... Так что советую, пусть врач из вашей поликлиники съездит и освидетельствует труп, сами знаете, насильствен-

ная смерть определяется не так уж и сложно. В противном случае мне придётся подключить не только ваше начальство. Да, вот и хорошо, вот и добре, надеюсь во всём на ваше благоразумие. До свиданья!

Положив трубку, Светлана Ивановна сказала Лене:

– Езжай в поликлинику, я обо всём договорилась. Нет, нет, не стоит благодарности, – каким-то, незнакомым Лене, повелительным жестом руки Светлана Ивановна остановила ринувшуюся благодарить подругу.

На похороны дяди Сени Светлана Ивановна не пошла, «это ж дело родственное, семейное», – сказала она себе, и забыла и о покойнике, и о Лене.

Только на службе ощущала Светлана Ивановна свою нужность, просто необходимость, что ли. Ведь это она росчерком пера распоряжалась человеческими судьбами, от неё зависело, будет ли счастлив или несчастлив тот или другой человек, она решала, где жить тому или этому, словом в её руках были жизни, множество жизней! От чувства собственной силы у неё порою и дух захватывало, что там священники или врачи, она, она была чуть ли не Распорядителем человек, во всяком случае, во вверенном ей районе. Незаметно для себя Светлана Ивановна начала б р а т ь. Нет, не деньгами, а поначалу коробками конфет, «киевскими» тортами, шампанским, коньяком и прочей мелочью, да это как бы и попросту прилагалось. Только по прошествии то ли двух, то ли трёх лет после встречи с бывшей подругой Светлана Ивановна в з я л а, и взяла не по-маленькой.

Опять в её жизнь вошла Лена Иоффе. На сей раз она пришла хлопотать за свою знакомую, у которой были трудности с получением загранпаспорта для выезда на постоянное место жительства за рубеж. Естественно, что и эта знакомая, как и сама Лена, была еврейкой. Светлане Ивановне уже множество раз в своей паспортной деятельности приходилось иметь дело с евреями. Поначалу относилась она к этой нации равнодушно, дескать, есть такие, да и всё, но с течением времени она стала раздражаться – вечно у них всё было не как у людей, то одни документы не в порядке, то с именами нескладуха, в разных документах несоответствующие друг другу имена, отчества, фамилии, а то и даты рождения и даже годы рождения?! Хитрили больно, а потом сами из-за этого и страдали, начала считать она. Однажды, работая с посетительницей – еврейкой, она не выдержала и сказала:

– Вот обезьяна всё хитрит, хитрит, а в итоге всё равно с голым задом остаётся.

– Это вы к чему? – насторожилась дама

– Да так, просто, – спохватилась Светлана Ивановна.

У Лениной знакомой оказалось и не такое уж большое несоответствие между паспортом и метрическим свидетельством, и скорее всего

это была не вина её родителей, а оплошность паспортистки из домоуправления. Светлана Ивановна согласилась ей помочь и получила, через Лену, большую сумму в твёрдой валюте. Это её, правда, почему-то вовсе не обрадовало, а только вызвало озлобление против этих евреев-богачей... Им, видите ли, позволено уезжать, и уезжать, и уезжать туда, где легче да сытней, и они ещё неохотно при этом расстаются со своими деньгами?! Да не бывать этому, как-то несловесно, но определённо решилось в голове и в душе Светланы Ивановны, да «их» обдирать нужно, унижать, нищими «туда» выпускать... Нечего попускать «им»! «Все они в золоте, да и при деньгах!» – пусть за всё и расплачиваются, говорила она себе, уже не думая о знакомых ей евреях, ни о Лене и её семье, ни о своей когда-то любимой учительнице истории Мирре Петровне, ни о знакомых ей преподавателях-евреях из пединститута...

– Евреи деньги очень-очень любят, – как-то в разговоре со своим начальником вдрут, совсем и не к чему, сказала она.

– Ой, где ты права, там ты Светлана Ивановна права! – как бы и не удивившись этому неожиданному заключению, подтвердил он. – Так давай же и выпьем, за то, чтобы не позволять им трястись над своими бабками, которые у них нужно экспроприировать! – и он громко захохотал, доставая из сейфа коньяк и два пузатых, (для бренди), бокала. Светлана Ивановна обрадовалась, это было не только её умозаключение.

И стала она б р а т ь а, оттого, что брала, ещё больше озлоблялась против них, проклятых, которые были вынуждены платить, платить, платить, и уезжать, уезжать, уезжать... так что ей даже иногда стало казаться, что это самое настоящее б е г с т в о!!!

«Вот гады, – подчас думалось ей, – что им не так, чего не сидится, особенно теперь, когда графу «национальность» из паспортов убрали. Правда, – тут же вспоминалось ей, при регистрации брака в «свидетельство о браке» вписывают национальности брачующихся, но всё равно...»

И жизнь Светланы Ивановны Челомбитько и дальше текла бы себе в привычном русле, если бы... не гипотеза Пуанкаре?! Ничего до поры до времени не знала она об этой гипотезе, да и про самого француза этого, Пуанкаре, тоже никогда не слыхала. Да вот ТВ, радио, газеты что-то начали толковать про эту самую гипотезу, да про самого француза, да про медаль какого-то Филдса, и ещё про какого-то питерского математика-чудака Григория Перельмана, чего-то доказавшего в этой гипотезе. Она не вдумывалась в эту, ненужную ей, информацию. У неё своих дел было невпроворот, чтобы ещё интересоваться всякой ерундой.

Ехала Светлана Ивановна со службы за рулём своей новенькой иномарки, когда увидела перебегавшую дорогу прямо перед её машиной женщину. Она резко затормозила, чертыхаясь, готовая чуть ли не об-

материть эту женщину, когда узнала в ней Лену Иоффе. На той, как и всегда, было старое, казавшееся ветхим, пальтишко, да в руках авоська с книжками и пакет с молоком. Проводив её взглядом, задумалась: «И отчего она-то не уезжает, живёт ведь скудно, бедно, и это при её-то знаниях и одарённости...» Но тряхнув головой, словно отгоняя ненужные сантименты, включила она автомобильный радиоприёмник. А оттуда и понеслось, что будто бы такой бессеребренник этот Перельман, что не только не явился на церемонию вручения ему медали Филдса, номиналом в семь тысяч долларов(!), у Светланы Ивановны перехватило дыхание от этого сообщения, но в следующую же секунду диктор объявил, что Григорий Перельман отказался и от миллиона долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре. На этот раз Светлана Ивановна остановила автомобиль сама. Ей стало плохо, физически, словно бы воздуха не хватало, будто что-то в груди душило её, казалось, что она вот-вот потеряет сознание... По мобильному она дозвонилась мужу... и вскорости лежала в палате больницы скорой и неотложной помощи.

На следующий день Светлану Ивановну, по её настоянию, выписали. Диагноз ей поставили – «стенокардия».

– У меня грудная жаба, – объяснила она мудрёное название мужу, – и всё из-за них, сказала она уже самой себе, – из-за евреев, а в частности из-за наверняка психбольного Григория Перельмана. Никакому трезвомыслящему человеку не пришло бы в голову отказать не только от миллиона, но и от семи тысяч тоже.

Это самообъяснение неожиданно успокоило её и вновь придало уверенности в себе, в собственной правоте. Поговорить обо всём этом очень хотелось, но было не с кем: мужу это было бы скучно и неинтересно, с сотрудниками ОВИРа невозможно, по причине того, что никто никому не доверял. Каждый из них, в том числе и сама Светлана Ивановна, считали что их «подсигивают», и если «брали» с получателей загранпаспортов, то только наедине, как говорится «тет-а-тет»...

И вдруг ей припомнился её бывший начальник в паспортном, тот в ком она когда-то обнаружила единомышленника. К нему-то она и помчалась.

Поначалу Светлана Ивановна и не признала в исхудавшем, казалось, что только глаза светятся, человеке в подполковничьих погонах того самого бравого своего начальника, хоть и не виделись они всего лишь то ли три, то ли четыре года.

– Ничего Светлана Ивановна, не смущайся, не ты первая меня не узнала, у меня ж клиническая смерть была, я уже ТАМ был, – он поднял вверх руку. – С чем пожаловала, ведь ты просто так не заходишь, только по какому-нибудь делу?

– Да, ну что вы, Николай Фёдорович, – хотела было возразить Свет-

лана Ивановна, но решила говорить напрямик, – вот я тут к вам по поводу Перельмана.

– Кого-кого? – у бывшего начальника вопросительно поднялись кустистые брови.

– Григория Перельмана, математика, – нетерпеливо заговорила Светлана Ивановна, ей хотелось побыстрее перейти к сути.

– Постой-ка, если ты говоришь о том, о ком всё время по телеку говорят, то, насколько я понял, он не из нашего города, а из Ленинграда, ну то есть из Питера.

– Да, да именно о нём, – закивала она.

– Тогда мне совсем ничего непонятно, – развёл своими слабыми руками подполковник.

– Помните, когда-то мы с вами говорили, вернее я говорила, – быстро, сбиваясь, но взволнованно продолжая, проговорила Светлана Ивановна, – что евреи деньги любят.

– Да кто ж их не любит, – добродушно усмехнулся Николай Фёдорович, – их все любят.

– Да, все, – с досадой произнесла Светлана Ивановна, – но вы ж слышали, что этот Перельман отказался от миллиона, это даже обсуждалось в передаче у Андрея Малахова «Пусть говорит»!

– Ну, и что?

– Как, что, – растерялась она, – он же – е в р е й! И от миллиона отказался?! Этого ж быть не может! Чтобы е в р е й, и от денег, таких денег отказался??? Он психбольной, – уже кричала она, забыв обо всякой осторожности, – если бы он был в своём уме и при памяти, такое бы не произошло, этого бы не произошло... Этого не может быть, потому что быть не может, – забилась она в истерических рыданиях...

– Успокойся, Света! – и бывший начальник, как и много лет назад, плеснул ей в бокал коньяку, себе же наливать не стал, – выпей, пройдёт... – И она начала медленно отхлёбывать успокоительную жидкость.

– Да, и я точно так же как и ты думал, пока не заболел... – он замолчал. – К сожалению, а может, и к счастью – не знаю – я не могу передать тебе ничего из того, что ты узнал за время болезни, потому что ты или не поверишь мне, или решишь, что я, как и твой Перельман – психически больной, попросту сумасшедший... – он замолчал снова.

– Но где вы видели еврея, который отказался бы от миллиона? Таких не бывает, он всего-навсего псих!

– Эх, Света, Света, записываешь ты в психи всякого, тебе непонятно. А впрочем, и я раньше так думал бы.

– А что же произошло? – совершенно не любопытствуя, скорей из вежливости, спросила Светлана.

– Да понял я, что Он есть, – тихо ответил бывший начальник.
– Ах, – раздражилась она снова, – я вам про Перельмана, а вы? Я еще раз вас спрашиваю, слышали ли вы, чтобы какой-нибудь жид, ростовщик-не ростовщик, сапожник-не сапожник, банкир-не банкир, часовщик, да кто угодно, нормальный, а не псих, как Перельман, кто бы отказался от миллиона???

– Достоверно известно об одном еврее, отказавшемся от всех ему предлагавшихся благ, ото всех благ мира сего.

– И кто же этот очередной сумашедший жид, – усмехаясь, спросила Светлана Ивановна, – среди них, надо сказать, много сумашедших.

– Иисус из Назарета. Христос.

ИГОРЬ КОГАН

ШАРЛАТАН

«...то узнаешь об интересующем тебя вопросе всё, да еще с такими подробностями, которых и знать-то не захочешь».

Н.В.Гоголь

Вот и я, пока меня самого всерьез не стукнуло – думал: «что это за ересь такая Астрология, с чем ее едят, с хлебом, а может еще и на масле с икоркой хватает? Эка людей дурят! И ведь находятся же раздолбаи. Платят! У самих себя не только икру с маслом отбирают, а и на хлебушко иной раз не достает».

Думал я так до тех пор, пока не приперло. Так приперло, так припекло, что хоть стой, хоть падай, хоть святых выноси. Помыкался я, поизгалялся на все четыре стороны, а толку нуль, и помощи ждать ни от кого не приходится.

Одна моя дальняя родственница, приехав ко мне погостить из самой что ни на есть дремучей Сибири, на вопрос, понравилась ли ей Москва, в ответ спросила: – «А грибы в ей (в Москве, то есть) растут? – и, получив отрицательный ответ, добавила – ну вы попали...»

Попал я, короче, и выхода два: либо в петлю, либо к астрологу. Поскольку надежда умирает последней, а веревку намылить завсегда успеть можно, взял я, скрепя сердце, газету, нашел объявление и почапал к этому шарлатану.

Жил шарлатан в самом сердце старой Москвы, на Чистых прудах, в старом, заношенном, скрипучем внутри доме. Сам он тоже оказался таким же старым и скрипучим. Такой же была и более чем полутемная квартирка, в которой шарлатан на втором этаже обретался.

Как он выглядел? Да никак. Кажется, и лица-то у него не было: ни носа, ни щек, ни бровей, ни рта, ни лба, ни подбородка. Были только глаза – ни добрые, ни жестокие – мудрые. Такие мудрые, что я как-то и про петлю забыл и успокоился сразу.

«Ну-с, – проскрипели глаза, – сказывайте молодой человек, что за

беда привела Вас в мою обитель? Что беда, знаю точно. К таким как мы без беды не приходят, да и то когда совсем невмоготу станет. Ну, что там у Вас...». Слово «Вас» он, почему то, произносил с большой буквы.

Рассказал я ему все подчистую. Что я, мол, такой-сякой разнесчастный, мелкий торговый лавочник: что, мол, не от хорошей жизни, что профессия другая, не торговая, что братва, что чиновники, что пожарники, что санэпиднадзор, что всем дай, что на семью еле-еле остается, а тут налоги плати, а с чего, а сроки подходят, а бухгалтер ушел, потому плачу мало, а без бухгалтера хоть топись и т.д. и т.п.

«Ну что же – говорит – давайте Ваши данные: число, месяц, год, место и точное время рождения». Сказал я все кроме точного времени. Где ж я его возьму?

«Вам, молодой человек, сорок три без малого – проскрипели глаза – стало быть, Вы мужчина возраста почти среднего и событий серьезных в Вашей жизни накопилось достаточно. Вспомните: развод, женитьба, когда мужчиной стали, когда ребенок родился, кто из близких родственников скончался, кто жив, когда они родились – и все желательно поточнее. По всем этим данным можно восстановить Ваше время рождения с точностью до секунд. Без этого Ваш гороскоп правильно не составить. Ошибочка будет, а я ошибок не делаю – и Вам и мне ошибочки дорого обойдутся. Вы разоритесь и под суд пойдете со всеми последствиями. Меня же грешного небеса так накажут – мало не покажется. Хорошо если тронут меня – полбеда, а вот детям или внукам так жизнь поломать могут, что сам жить не захочешь. Так-то... Закон равновесия, молодой человек, основа существования Вселенной и жалости этот закон не знает – рикошетом бьет, автоматически. Потому и возьму за услуги дорого».

Озаботился я, короче, но через пару дней кое-что ему принес. Он написал и говорит: «Через неделю в десять утра мне позвоните и придете, когда скажу».

Неделю эту я не жил – почти не ел, почти не спал. Всю душу себе извертел. Утром звоню. «Приходите – говорит – сегодня в шесть часов вечера, я Вас не разочарую».

Как назло погода с полудня в такую рухлядь, в такую труху превратилась, что я чуть было дома не остался. Чернотища аж до крыш. Дождь, холоднящий зараза, как из ружья хлещет – и с ветром, а у нас тут после-стройка уже лет десять, так напрудило – еле переплыл.

В метро влез – брюки до колен в глине и все ручьями стекает. Ручеек посередь вагона – как обмочился. Три девицы сидят и ржут на меня – стервы. Озлился я. «Будете ржать – говорю – сейчас рядом сяду или на ваших коленках разложусь». Эти дылды еще пуще заливаются. Я бы их всех точно об себя изгваздал, да к Чистым прудам подъезжали – моя

остановка. Дождь, слава богу, лить перестал, мелюзжать начал. Мелко-мелко так поплеывал испуганно и гадливо. Люди бывают, как этот дождик: плюнет из-за угла и аж задохнется от страха и собственной трусливой смелости...

Дошел я, короче. В подъезде пообчистился малость. Не обсох, конечно, однако в метро вода из меня вылилась. Вхожу, здороваюсь. «Садитесь – говорит – через неделю, но не позднее, чем дней через десять, будет вам новый бухгалтер. Больной, пожилой, очень опытный, очень хитрый, очень жадный. Зарплату потребует в месяц – заскучаете, но Вы старика слушайте. Он Вас изо всех дыр выгасит. Налоги вообще платить не будете или минимальные. Причем все по закону. Так что у Вас много больше останется, а теперь Вашим гороскопом займемся, то есть поговорим о Вас».

Тут я прихожу к тому, с чего начал, то есть с цитаты Н. В. Гоголя, поскольку узнал о себе «такие подробности которых и знать-то не захочешь».

Прекрасно понимая, что чужие подробности самый лакомый кусочек для чужих ушей я, тем не менее, эти подробности опускаю. «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться» – так, кажется, сказал некий известный баснописец, а лучше всего «оборотиться» к хорошему астрологу – в зеркало потом долго смотреть не захочешь.

Когда я пришел в себя от шока, то задал спасителю своему совершенно логичный вопрос: «У вас немало клиентов. Вы знаете о них не меньше, чем теперь обо мне. Почему вы не используете эту информацию себе во благо?».

«Я уже говорил Вам, молодой человек – закон равновесия, или замещения, или возмещения во Вселенной обязаны соблюдать даже ее создатели. Точнее они могут, наверное, и не соблюдать, но закон работает автоматически. Что уж говорить о нас, о малых сих. Вход в изначальную матрицу клиента без его личного разрешения карается неотвратимо и беспощадно. Предоставив мне число, месяц, год, место и точное время рождения, Вы впускаете меня не только в вашу настоящую жизнь, но и в те жизни, которые Вы уже прожили и которые еще будут. Особенно если у Вас тяжелая карма, которую не исправить за настоящую жизнь. Вмешиваясь в вашу карму без разрешения, а попросту используя эти знания о Вас, я совершаю преступление, страшнее и тяжелее которого нет во Вселенной. Представляете, какое возмездие ждет меня? Не только меня, но моих нынешних и будущих близких, в следующих жизнях. Такое не отработает и сотнями поколений. Так что я уж лучше помолчу – целее буду. Хотя, откровенно говоря, иногда чешется. Я, молодой человек, знаю такое, чего не знает ни один адвокат, или следователь, ни

один историк или археолог. Они знают видимое, а я все остальное, чего клиент даже о себе не подозревает – тончайшие глубины подсознания, которые фактически руководят человеческими поступками. Ну и хватит об этом. Я что-то не припомню – Вы со мной расплатились?».

Все произошло, как он сказал. Точно через неделю у меня был новый бухгалтер: старый, больной, жадный, хитрый и очень опытный. Как потом выяснилось, до ухода на пенсию он работал заместителем начальника контрольно-ревизионного управления целого края. Визиты в налоговую инспекцию походили на цирковое представление. Тамошние сикухи только рты разевали. Я платил копейки и все по закону.

Три года сидел у своего главбуха, как у Христа за пазухой. Потом он умер. Постылую торговлю по совету своего уже личного астролога я бросил, и занялся своим делом.

Периодически я посещал его со своими заботами, а затем, как-то незаметно, мы, по человечески, сблизились. Много чего от старика наслышался. На прощанье он всегда повторял мне одно и то же: «То, что я говорю Вам, молодой человек, всего лишь рекомендации. Человек имеет свободу выбора. Это тоже один из основных законов Вселенной. Я могу только предостеречь: если Вы поступите А, то последует Б, если поступите Г, то последует Д, и так далее. Выбрать Вам».

Однажды он вручил мне распухшую папку: «Здесь все мои записи, все мои итоги – точнее все, что я имел право доверить бумаге, без риска быть наказанным в следующих жизнях. Знаю – Вы не дотронетесь до содержания этих записок, пока не придет мне срок получить новое тело. Для этого, молодой человек, Вы мне и посланы. Когда я уйду – будете знать, что делать – Вам напомнят».

С тех пор прошло почти десять лет. Когда он скончался, меня в Москве не было. Знаю только, что на похороны пришли сотни людей.

Маленький, едва заметный старичок решал судьбы очень многих, стольким помог.

Сейчас он снова живет на этой земле, только не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Ему два с половиной года.

Почему я знаю? Потому что знаю. Слишком долго, слишком часто общались.

Ну и, конечно же, эта самая папка. Разумеется, я перед ним полный пигмей, но и задача у меня другая – донести что можно, что разрешат – я ведь себе не враг лишнюю карму наживать – до максимально большего количества людей. Как говорится «продолжение следует»...

Поклониться месту его захоронения на Ваганьковском кладбище, до сих пор приходят уже солидные, пожилые люди... И цветы, цветы, цветы...

АЛЬБЕРТ ЛЕИН

* * *

Музыка еле слышна,
Смыты заботами ноты,
Белые клавиши дня,
Чёрные клавиши ночи.

Скрипок щемящая боль,
Жалоб изящества флейты,
Месяц надет на забор
Жути холодным беретом.

Замерли суета
И ироничность фагота,
Площади дышит плита
От суетливости пота.

В мантии чёрной рояль,
Будто монах, отчуждённо
Смотрит на мир, как печаль,
Болью чужой награждённый.

И под обломками сна
Греции древней каноны...
Белые клавиши дня,
Чёрные клавиши ночи.

* * *

Стояли дни грустящих выдумок,
Когда сады заапельсинели,
И миражей дрожащих идолы
Шли к горизонту прямо в синее,

Шли облака небес фарватером,
И лес, как будто скот на выпасе,
Трав износившиеся скатерти
Сентябрь расщедрившийся выбросил.

Внимательны, всегда торжественны
И важные скучают вороны,
Задумчивые и житейские,
В одеждах, выношенных горестью.

Дни увядания, гадания,
Шли облака небес фарватером,
Как опоздавшее раскаяние
На кладбище цветы у матери.

* * *

Одеты были все по-зимнему –
Вокзалы, люди, поезда,
К морозу окна рты разинули,
На небо выпялив глаза.

Там самолёттик акробатально
И гуттаперчиво звенел,
Фигуры выводил старательно
В просторной чуткой синеве.

Глядели люди доверительно
На колдовство, на пилотаж,
Как вверх впивался он стремительно,
Брал облака на абордаж.

Как падал в сторону он штопором,
И, ввинчиваясь, и крутясь,
За горизонта прячась шторами,
Вдруг снова вылетал на нас.

Как он летел к земле касательно,
И, крыльями погладив лес,
Опять впивался ввысь старательно,
И растворился, и исчез...

Был дымом горизонт запачканным,
Огнём крестилася беда,
По-вдовьи тишина скрипящая
Крестилась, чтоб не зарыдать.

* * *

А.Р.

Я каждой новой встрече рад,
Помехи нет, что не соседи,
Ты по застолью мне, как брат
И собутыльник по беседе.

О, как прекрасны вечера,
Когда заботы не мешают,
Пускай мы выпили вчера,
Сегодня вновь не оплошаем.

Радужный на столе коньяк
Пропитан солнцем и весельем,
И будь последний я дурак,
Коль откажусь я от похмелья.

Для душ не надо нам плаща,
Под ветром радости пощёчин
Нам грешных ангелов прощать,
Чертей прогуливая ночью.

И пусть какая-то там моль
Причмоком праведным осудит,
Прими поклоны, Алкоголь,
Тебя всегда любили Люди.

* * *

Ветром разорваны тучи в клочки,
Сыплется звёздная россыпь в ночи.
Над колокольной шевелится крест,
Только что месяц с руки его слез.

Тяжко вздохнула во сне тишина,
Шум, вспоминая вчерашнего дня,
Тёмные далее застыли ручьи,
Звёздную росность пьёт месяц в ночи.

* * *

Бесснежеством улицы плещат,
Декабрь равнодушьем ранен,
А где-то, где-то в Магадане
Снега в искристости дрожат.

Уже давно там не спешат,
Застряло в небытьях гортани
Обstraшенное слово «Сталин», –
Живая дьявола душа.

Снежинка – бывший человек,
А в Магадане снег да снег,
Снег – обелиск, снег – общий крест,
В снежинке каждой горе есть.

И кровь во льду, а не вода...
Скорбь вековая – Магадан.

* * *

Снег осенние сгладил погрешности,
Обеляя морщины земли,
На берёзе, как будто повешенный,
Листопадом оставленный лист.

На верёвке-стебле он качается,
Повторяя дыханье ветров,
Покорённость, смиренность, отчаянье,
Одинокость с разохнувшим ртом.

Онемелость застывшего крика,
Невниманьем одаренный гость,
Будто мумия старого лика
И тепло обронившая горсть.

И деревья стоят онемевшие,
Что от леса опеки ушли,
И глядят, как листочек повешенный,
Будто в цирке воздушный артист.

* * *

Ветер растряс
Груды тумана,
Месяц, как глаз...
Телеэкрана.

Будто ожог
Звёздной кожи,
Искренне лжёт,
Время итожа.

Снова увяз
В пене тумана,
Месяц, как глаз
Телеэкрана.

* * *

Занавеской вечера
Заслонился день,
На луны подсвечнике
Облаками тень.

Сквозь туман засветится
Синий небосвод,
У Большой Медведицы
Звёздный бутерброд.

И дорогой млечною
Заблудился день,
На луны подсвечнике
Облаками тень.

* * *

Целует тишиной в окно
Проснувшаяся вечером прохлада,
И на стекле, как след губной помады,
Распределила оттепель пятно.

Вдали прогремыхали поезда
Усталостью привычного азарта,
Без адреса умчавшись в никуда,
И не найти его на звёздной карте.

Лишь трещина да тёмное окно
И тяжесть чувств совсем не между прочим.
И на стекле отчаянья пятно
Всё поглотившей наступившей ночи.

* * *

Застыли тени под покровом
Вечерних выдохшихся гроз,
Ленивый месяц, как корова,
Траву жуёт холодных звёзд.

И неба луг, как бесконечность
Загадок, помыслов, страстей,
Несуетливая, как вечность,
Земля и берега постель.

Волна доверчиво ласкает
Минуту зыбкой тишины,
И неожиданности Каин
Ещё свободен от вины.

Раздета ночь от суеверий,
Пугливых помыслов, тревог,
И спит пока ещё химера
Твоих запуганных дорог.

* * *

Деревья исхлѣстаны ветром,
Засыпаны сиплым дождём,

Болеет безрадостью лето,
Безвременья неба на нём.

И тучи изменчивый парус
Разжёван, искусан в клочки,
и молодость смотрит на старость,
А та на неё – сквозь очки.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

ИСТИНА ВИДНЕЕ СКВОЗЬ КРИСТАЛЛ ФАНТАЗИИ

«Несомненно, философы правы, утверждая, что понятия великого и малого суть понятия относительные».

*

«Мой краткий исторический очерк Англии за последнее столетие поверг короля в изумление. Он объявил, что эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылки, являющихся худшим результатом жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия».

Джонатан Свифт
«Путешествия Гулливера», 1726

(Лемюэль Гулливер путешествовал в Лиллипутию, в Бробдингнейг, в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнейг, Глаббодриб и Японию, а также в страну Гуингмов)

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ СВИФТ

Прошло с тех пор неполных триста лет,
как появился «Гулливер» на свет.

Глазами Гулливера посмотрев
на жизнь вокруг, Свифт *столько* увидал
и *так* в своём романе передал,
блистательном, язвительном чертовски,
что навсегда впечатал чёткий след

в сокровищницу мысли философской,
в историю, в фантастику, в сатиру –
не перечесть всего, что дал он миру!

Никем ещё непревзойдённый Свифт –
ему отдать хочу восторга дань:
роман его, из тысяч мыслей свит,
из бывшего *вчера* – в *сегодня*, в *завтра*
развёртывает красочную тканьь,
где каждая строка полна азарта,
сарказма и ума,
и всё – Фантазия сама!

ДУМАЯ О ГУЛЛИВЕРЕ

*Полное издание «Путешествий
Гулливера» отец подарил мне
в одиннадцатый день рождения
28 апреля 1949 года.*

При мысли об известном Гулливере
его мне тотчас заменяет Свифт.
Я с детства без сомнений верю,
что этот Гулливер со Свифтом слит
в единой жизни и в одном лице,
и думать не хочу об их конце...

*

В своём полузаброшенном имении
он после странствий замкнуто живёт.
Среди соседей, в их мещанском мнении,
привычно злющим чудачком слывет,

а сам беседует в ухоженной конюшне
с прекрасным благороднейшим конём, –
особенно зимою, с ветром вьюжным,
Свифт часто беспокоится о нём.

И конь, с глазами юного Давида,
в которых ясный ум горит,
на языке *гуингмов* говорит
о диких нравах *йэху* как подвида

обширнейшего вида обезьян –
он лично знает каждый их изъясн,
и просит рассказать про *лапутян...*

Приятны им такие разговоры.

И каждый вечер Свифт, задвинув шторы,
из потаённой ниши достаёт
резной, весь в инкрустациях, ларец –
в нём пестует он уж который год
из *Лиллипутии* привезенных овец,
и щурясь, поднося поближе свечку,
он гладит шелковистую овечку
громадной, с ней в сравнении, рукой
и обретает в тишине покой...

28 апреля 2009

СЕМЁН ЛУРЬЕ

ПЛЫЛА МЕЛОДИЯ...

*Памяти
Михаила Хейфеца*

Плыла мелодия вначале,
затем слова слились в строку,
как магия в притихшем зале,
как волны, что несут реку.

Мелодия всех взволновала, –
текст подчеркнул её мотив.
Но песня подошла к финалу,
закончив звуки бойких рифм.

Зал реагировал на действие,
и те, в ком души не глухи,
услышали, как Миша Хейфец
ещё варьирует стихи...

Остался след его мелодий,
и образ Миши не угас.
Он музыкаю нас заводит,
он будет жить в сердцах у нас.

ДНИ И НОЧИ

Весною сердце ликовало,
Когда сирень в саду цвела.
Да жаль, тех дней так было мало,
А ночь бессонною была.

Будила тень нас каждой ночью,
Вороной каркала впотьмах.
Отца и мать у сына с дочкой
Похитив, пряталась в домах.

И повелось от года к году:
Ночами царствовала тень.
А днями нам, начав с восхода,
Дарила аромат сирень.

Мы ночевали в царстве тени,
Смолчав об этом днём в тени.
Душистой прелестью сирени,
Сопровождались наши дни.

ДВА ВРЕМЕНИ ГОДА

*«Жаль, когда нет тёплой,
задушевной лирики»*

Анна Ахматова

Окно распахнуто апрелем.
Пьянящий аромат весны.
Разбушеввалась спьяну зелень
На берегах реки Десны.

Знакомый домик над рекою, –
Души лирический распев:
Сон отступил и успокоил,
Воспоминанием согрев.
Прошелестев листом опавшим,
Напомнил вальс «Осенний сон»,
Весенним трепетом совпавшим
С иным сезоном в унисон.

И только в снах весну и осень,
А ими Бог руководит,
То в двух подруг, то в пару сосен,
То в двух соперниц превратит.

Тем временем, поэт-мечтатель,
Ещё под впечатленьем сна,
Всё ждёт, когда поймёт читатель,
Как близки осень и весна.

НА ДНЕ ГРАНЁНОГО СТАКАНА...

Следы невыплаканных слёз
На дне гранёного стакана,
Давно потухшего вулкана,
Ранимых душ апофеоз.

В слезах скрывается секрет
Следов забытой катастрофы,
Поэта пламенные строфы,
Его печальный силуэт.

Стихотворения творца
Властей дразнили. В поединках
Погиб он. Слёзы на поминках
Текли в стаканы и в сердца.

И ветер унести готов
Золу от кратера вулкана,
Со дна гранёного стакана, –
Следы невысказанных слов.

ПРИЕЗЖАЙ НА ПОЛУСТАНОК

Полумрак. Полусон. Полустанок.
Жизнь моя на другом берегу.
Я пишу тебе друг, спозаранок.
Серп луны. Санний след на снегу.

Приезжай. Твои старые раны
Заживут. И продлишь краткий век.
Ведь у вас там, почти постоянно,
Кто-то замертво падает в снег.

Десять лет так. А здесь полустанок,
И лиричен, как стих, санный след.
Снег скрипит под полозьями санок.
Поэтически-снежный дуэт.

Полустанок – приют для души.
Ты его отвергать не спеши.

ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ

АНГЕЛ-РЕКА

Ангел-река
Голо блистала
Сплавом Стекла
Плавно вздыхала

Ахала лак
Волнами глади
Ладей и ЛА-
донями прядей

СТОЯЛА СИРЕНЬ

Случилось такое:
Стояла сирень,
Роня соцветья
В надменную прбсинь.
Сирене-расстрелянный
Сон деревень
Пружинисто мялся
созвучьями – «очень».

Несносно-прозрачной
Очнулась весна –
По сену, осинам
И ситному ситцу.
Влюбиться пыталась...
Сорвалась и на
Листве раскалённой
Поплыла сочиться.

И что-то ручьистое –
Слёзы почти,
Пыталось заласкано
Складками таять:
И липкие почки
Надели очки,
Горяче-скользящими
Солнца лучами.

Я НА ТРУБЕ

Славу налей
В сладкую боль.
Пой соловей
Вилами воль.

Слева – ловец.
Справа – правá.
Я – на трубе.
Брут – голова.

Утро придёт
Пряди – ему.
Груди полей –
Переимú.

ВЯЗНЕТ ВОЗДУХ

Красный зонтик
Вязнет воздух
Солнце тенью
Греет ноги
Рвётся ткань
Структуры дня

Сеткой люди
Пламенеют
Улыбаются
Прозрачность

Мягкой
Поступью огня

КОСЫНКИ ДНЯ

Я возьму тебя вдоль,
Как тоннель пистолета!
Поверну жерло дула
К тебе, самой.
И нажму на курок,
Как пуанта балета
Паркетуру целует
Тугой ногой.

Отворю от лица
Подлеца все заплаты.
Заплачú золотыми
Косынок дня.
Заманю, как коня,
За туманы монады
И заплачú плечами
В висок огня.

ТРОГАЮ ЛЕТО

Умер – не умер
И кровь – не моя!

Омутом трели!
Омутом трели!

В небе глубоком
Воланы парят

Дев Боттичелли,
Дев Боттичелли.

Сяду в качели –
Охотный мой ряд,

Трогаю лето,
Трогаю лето.

Мир опрокину
В седло октября

Римом поэта,
Римом поэта.

ЧЕЛО ВЕК.

ОУхожу в темнотЕищу.
 (Мрак кромешный)!
Плугом сути вспарываю
 ЕЯ нутро.
Никакого пузырька
 В ДО и МЕЖДУ!
Ни малейшего проблеска
 Из и в ПРО.

Над промежностью смежились
 Веки чéковы.
Чéло-веку – по веку его!
 По ка-дыку!
Каучуковой вечностью,
 Тьмой ковчеговой,
По véкам чела его,
 Зрачком бегу.

ЗАХАР МИШИН

*В центральном сквере г. Ташкента (Узбекистан)
спилены все вековые платаны без объяснения причин*

Из сводки новостей.

* * *

Мне снится сон, как будто Саркози
отрёкся от себя, от Николая,
Людовиком себя вообразив,
и стал вживаться в образ короля.

Издав указ спилить Булонский лес,
а заодно и Люксембургский сад,
он лег в постель и вновь с кровати слез,
– до сна ль тому, кто мыслями богат!

В его стране отзывчивый народ.
Прослышав об указах «короля»,
он повздыхал сочувственно – «пройдет!»,
решив лечить бесплатно Николая.

В другой стране – азийской – наяву
возник, к несчастью, схожий прецедент.
Здесь много лет держался на плаву
султан, по сути, он же президент.

Он тень Тимура вызволил из тьмы,
его камчою заменив закон,
он вместо мыслей страх вселил в умы,
его портрет – подобие икон.

«Даёшь стабильность!» – был его девиз,
окаменелым стал его покой,

и если называл он верхом низ,
то все вокруг кивали головой.

Под шелест слов покорных «хоп майли»¹
не пользы ради, а утечи для
он отнял тень у выжженной земли,
он память детства отнял у меня.

Его народ сердечен и не сух,
но он не врач султану своему.
Речь отнята, но зрение и слух
пока еще подчинены уму.

* * *

Спит истина – незрима и нема...
Искателю её добытая частица
в приготовленьи мифа пригодится –
вполне съедобной пищи для ума.

Спасительны неведение и миф,
нас побуждающий с химерами сживаться,
с надеждой засыпать и с верой пробуждаться,
ту и другую снами укрепив.

Опасна истина – преобразит анфас
иконы бывшей в профиль вурдалака,
воспетый край окажется клоакой
и правдой новою обрушится на нас

послушник – моралист, назначенный во власть,
при нем совет блатных – блюстителей закона,
поп-прощельга – вновь опора трона
и думский шут, юродствующий всласть.

«Ищите истину!?» – да где её искать,
когда она надёжно так сокрыта,
и нам привычней жрать из общего корыта
дурман–траву, чтобы покрепче спать.

* * *

Увы, как беззащитно ухо!
Обречено и в час ночной
оно любые слышать звуки:
скрипит ли дверь, жужжат ли мухи,
иль храп соседа за стеной.

То ль дело глаз! Прикрытым веком
пусть ненадёжно защищен
от мук глядеть на человека,
с которым разминуться б веком,
однако, к встречам принужден.

Сомкнуты челюсти и губы,
умолк язык и – тишина...
Не прозвучит: «пошел ты на...»
в ответ молчанью голос грубый –
спасают губы болтуна.

И лишь недремлющее ухо
передаёт, как на стене
часы (их слышу и во сне)
мой срок отсчитывают глухо,
язык показывая мне.

* * *

Не нужно музыке сопровожденья слов
– она сама поэт и переводчик,
о ней писать – не хватит слов и строчек,
все будет не верней, чем толкованье снов.

Она поверит каждому своё.
Душа, вкусивши из бездонного бокала,
наполнилась тоской иль вдруг возликовала –
найдется ль объясненье, отчего?

И с Иоанном не вступая в спор,
не смея колебать библейские начала,
не слово было – музыка сначала –
скажу евангелистам не в укор.

ВНУКУ

Не люблю слово «дед», возвращаюсь с готовностью в детство,
когда рядом с тобой я рисую на мокром песке.
Принимая тебя каждый день как лечебное средство,
не пойму, почему чей-то дед предаётся тоске.

Я учусь говорить на тебе лишь понятном наречьи
и учусь понимать – не всегда удаётся, прости.
Поднимая тебя на свои неширокие плечи,
удаётся, мне кажется, важное что-то постичь.

Ты лепечешь слова, повторяя за мною, не чуя,
сколько их наперёд искушенный припас говорун,
то к забытым истокам, то к новым химерам зовущих,
неизменно потоками лжи обдавая с высоких трибун.

Потому и читаю стихи, не свои, а большого Корнея,
чтобы ты не бледнел, Бармалея встречая в пути.
Ведь и мы навидались немало таких Бармалеев,
одолеешь и ты иль научишься, как обойти.

И ещё ты поймешь, что бывает обманчива радость
и лекарством спасительным вдруг обернется печаль.
В каждом прожитом дне находить драгоценную малость
помоги тебе Бог, освети твою дальнюю даль.

¹ «хоп майли» по-узбекски ладно, хорошо.

СЕРГЕЙ ПЫШНЫЙ

У БОЧКИ

Из парков Ленинграда больше всех я люблю Приморский парк Победы. Здесь всегда мало людей даже в будние дни. Парк выходит к Финскому заливу, открывая нежные оттенки морской дали. Я гуляю по его берегу, заваленному различным мусором. Вижу пожилых людей, которые строят из всевозможных, валяющихся на берегу, отходов навес с тремя стенками. Строение с дырами, но всё же защищает от ветра. У входа установлена железная бочка, напоминающая печку. Обилие всяких дровяных кусков и щепок позволяет разогревать бочку так, что рядом с ней при любом морозе тепло.

Время от времени милиционеры, а иногда хулиганы ломают строение, но пожилые люди упорно восстанавливают его, несмотря на то, что уверены в его недолговечности. Всё это казалось мне старческой причудой.

Однажды, гуляя по парку вдоль канала, я увидел дымок знакомой бочки. Было морозно, и я решил погреться. Под навесом сидела женщина лет шестидесяти. Обычно здесь собираются несколько человек, но в этот раз она была одна. Я сел рядом с ней. Женщина молчала, видимо, о чём-то думая. Я почувствовал, что вскоре должна начаться беседа.

Я смотрел на огонь, – потоки тепла бликами лились по лицу, время словно остановилось. Рядом лежал щит с хлебными крошками. Периодически женщина отгоняла надоедливых воробьёв, – крошки предназначались нерешительным синицам. Женщина думала о чём-то своём. Неожиданно она повернула голову ко мне и сказала: «Что-то сегодня никого нет. Испугались мороза». Затем добавила: «Вот уже два года я на пенсии. За несколько лет до пенсии считала дни, сколько ещё осталось работать. Мечтала: выйду на пенсию, буду читать, ходить в кино и театр. А что теперь? Ничего не нужно...» Она задумалась. Зачем решила поделиться своими переживаниями с незнакомым человеком? Может, поняла, что никто из знакомых не сможет ей помочь, и в глубине души надеялась, что новый человек ответит на волнующие её вопросы.

Я почувствовал, что свои вопросы она адресовала, прежде всего, себе, и потому молчал.

«Ничего не нужно, – возобновила она свой монолог, – зачем живу? Не замечаю время, только чувствую боли то в одном месте, то в другом, ходить стала меньше. Для чего такая жизнь? – не знаю. Чтобы терпеливо ждать своего конца?»

Она подбросила дров в печку, отогнала назойливых воробьёв.

«А вы занимайтесь чем-нибудь с увлечением, только серьёзнее, чем прежде, до пенсии» – посоветовал я. Она улыбнулась и сказала: «Не увлеклась я ничем. Некогда было. Всю жизнь на работу едешь час, назад – час, затем стоишь в очередях, успеешь что-либо сготовить, а там и спать пора. Дождёшься выходного, – весь день уйдёт на стирку, уборку, готовку, магазины. Так и жизнь прошла. Больше нечего вспомнить. А теперь уже всё безразлично. Конечно, если было бы увлечение, – был бы смысл в жизни. А так, кроме усталости, нечего и вспомнить. А вы откуда?» – неожиданно спросила она. «С Охты, далеко конечно. Часа полтора в один конец. Пока приедешь, побудешь здесь, вернёшься, так и день пройдёт. А утром снова сюда. Всё-таки на воздухе. Тут и поговорить можно, и чаю попить».

Она заметила подходящую к навесу женщину. «Я думала, что никого не застану» – сказала та. Они обрадовались друг другу. Сели рядом и начали беседовать. Я не участвовал в их разговоре и лишь слушал его. Они говорили на обычные темы: о соседях по коммунальным квартирам, о поликлинике, где не лечат, и просиживаешь часами, о том, как трудно попасть в больницу, – страшнее этого не может быть ничего. Они, как я и ожидал, говорили о всяких беспорядках, каких не было прежде. «Вот при Сталине был порядок, – сказала одна из женщин, – он его от себя требовал и от других. Сам не стремился к роскоши и другим запрещал. А теперь, как ни начальник, – всё ему подавай, живут – бед не знают. А до нас им дела нет». «Ничего удивительного», – не выдержал я, – «если всё ограничивается только разговорами. Без борьбы ничего не добьёшься, кто хочет бороться?» Я прервался, заметив, что женщины сникли. Наступило неловкое молчание, и я понял, что перешёл некую грань. Вскоре женщины снова заговорили, но уже на другую тему.

Мне вспомнилось, что несколько лет назад я был знаком с дочерью секретаря обкома. Бывал у них редко, всякий раз видел её отца пьяным, ссорящимся с женой. Он кричал: «Что ещё вам надо? Одеждой завалил, жрёшь в три горла, чего пожелаешь – приносят домой. И всё вам не нравится, всего мало. Вырастила дуру, – на пятом курсе экзамены за первый сдать не может».

Им было безразлично, что в соседней комнате находится посторонний человек...

Между тем, женщины опять заговорили о своём, наболевшем. Мне захотелось уйти, но перед тем я не удержался и, как бы не к месту, без тени злорадства, сказал: «Вы несправедливы к медицине. Я знаю, что в партийной больнице неплохое обслуживание. А какие особняки на Каменном острове! Ни в одном западном журнале таких не увидите. Как говорил Аркадий Райкин: «У нас есть всё, но не всем хватает». Женщины почувствовали издёвку, и понимающе заулыбались. В ответ они рассказали, как однажды первый секретарь обкома Романов приехал на Каменный остров со своей любовницей. «Мы все ходили на него смотреть – оживлённо вспоминали они, – маленький такой и никакой охраны. Обычно, из Смольного он говорит только по телевизору».

Я начал прощаться. «Приходите к нам, – сказали они, – у нас не скучно». По дороге я проходил через Каменный остров. Высокие заборы не могли скрыть прекрасные особняки, в которых иногда проводят свой досуг партийные функционеры высокого ранга. Было тихо, медленно падал мелкий снежок, и никого вокруг. Казалось, что неуютно и одиноко за чёрными окнами особняков. Я смотрел на них и думал, куда так быстро уносит время нашу короткую и никчемную жизнь. Может, когда-нибудь откроются тайны этих особняков. Но появится ли у людей радость и надежда? Не вросли ли в их души навечно печаль, безверие и чувство безысходности?

Неужели не будет иной судьбы, чем ожидать у бочки своего конца, задавая себе один и тот же вопрос: «Зачем мы родились?»

АСЯ ВАЙСБЕРГ-ПРОЦКО

ПОСЕЩЕНИЕ РЕЙХСТАГА

Лена долго не могла выехать из Алма-Аты. Двадцать лет прожила здесь. Всё привычно, устроено.

Работа, семья, дочь, внуки, мама. Родители мужа – офицера в отставке.

И вдруг всё поплыло и поехало. Друзья собрались уезжать. Работа кончилась. Мама умерла...

Куда ехать? Дальние родственники звали в Израиль. Из-за болезни мужа ехать туда нельзя. Соседи оформляли документы в Америку.

– Нельзя. Лена понимала, что не сможет приехать через год поставить памятник матери. Остаётся Германия. В семье боялись вслух произносить это слово. Но свёкор, инвалид войны с ампутированной ногой, всё понял.

– В Германию собираетесь, в Берлин? Немецкой колбасы захотелось? Думаете, они рады будут вас кормить? Я останусь здесь...

И разговор об отъезде прекратился. Жить становилось труднее. Дочь – музыкант лишилась работы и сама Лена только в основном числилась. Да и зарплату выдавали бутылками водки.

Вскоре похоронили свёкра. Заговорили об отъезде, но муж заявил:

– Лена! Ты забыла, где погиб твой отец? Да и видела ты его только в свои четыре года. Знай – во имя памяти наших отцов, ты с детьми уедешь в Германию только через мой труп!...

И лишь спустя несколько лет, похоронив мужа, Лена с дочерью и внуками переехала в Германию.

Я знала эту историю по переписке с друзьями. При первой же возможности пригласила Лену в гости.

Прошло два года, пока Лена приехала с внуком – десятиклассником ко мне на неделю, в дни школьных каникул в феврале. Я решила показать им Берлин, купить подарки. В последний день наметили посещение Рейхстага. Лена восприняла это мероприятие довольно пассивно. Вздыхнув, сказала, что пойдёт туда ради внука. За вечерним ужином я

пыталась узнать у них, как прошла экскурсия. Лена, в ответ лишь вздыхала, внук пытался её успокоить. Что же случилось? И Лена рассказала.

Рейхстаг она воспринимала «Державным Знаком», который олицетворяет и как Великую нашу победу, и как тяжёлую утрату в семье, незаживающую боль.

Погода в тот день была ветреной, шёл снег, повсюду слякоть. Спасаясь от ветра, Лена с внуком прижались к стене, поглядывая с опаской на высокое крыльцо входа. И вдруг её как током обожгло.

Перед ней стоял молодой русоволосый немец в чёрном плаще с пластиковой карточкой дежурного. Он улыбался ей и что-то говорил. У Лены всё внутри задрожало. Он предлагал пройти с ним. Вот то, чего она так боялась. Проверка документов? Она инстинктивно прижала к себе сумочку с паспортом и проездными билетами. Почему он подошёл именно к ней? Ведь тут, в очереди, почти все приезжие? Почему он смотрит на её ноги? Ботинки грязные? Они у всех мокрые от снега. Что он говорит? И внук где-то бегает, фотографирует. Лена знала идиши и многое понимала по-немецки, но внутренний страх сковал её.

Она смотрела на немца и не могла сообразить, о чём он говорит. Только показывала на ступени и твердила по-русски:

– Туда, я с внуком туда...

Пришёл внук. Выслушал дежурного и сказал:

– Ба-а, он увидел, что у тебя больные ноги и предлагает пройти с ним без очереди к лифту.

Лена продолжала бормотать, что они хотят посмотреть Рейхстаг внутри. А дежурный улыбался, приглашая их следовать за ним. Они молча согласились.

За эти несколько минут перед её глазами пронеслась целая жизнь. Надо же было так случиться, что её, старую еврейку, впервые в жизни пожалел именно молодой немец. Пожалел её больные ноги! Жаль, уже не расскажешь об этом ни свёкру, ни мужу.

В памяти мелькнуло:

– В Берлин захотелось? Во имя наших павших отцов в Берлин – через мой труп!

Лена вошла в тёплый вестибюль, шагнула в кабинку лифта, присела на откидную скамеечку. В зеркале увидела свои старенькие ботиночки, и всё ещё крепко сжимаемую рукой сумочку, свои испуганные глаза, каляющиеся по щекам крупные слёзы...

ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ

* * *

Дикорастущее правящей силы богатство...
Свет оттесняет вперёд норвящая тень...
Брались за вилы, пытаясь до правды добраться.
Хруст позвонков, пули, в вечной лежат мерзлоте.
Тюрьмы, психушки, отъезды, уход в ренегатство-
Шёлк ассигнаций, власть, виллы, машины, портье...
Стоило мифы читать про всеобщее братство?
Впрочем, и ценности нынче другие, не те...

* * *

Любил, кипел, рвал жилы – не боялся.
Играл, хрипел – жил, изживая мрак.
Допел, сгорел, прожил, но – состоялся.
И разве важно – сколько? Важно – как.

* * *

Вновь навязчивость мыслей,
Вновь не выудить слова.
Взгляд без всякого смысла
К одной точке прикован.

Не хочу в дальность Бийска!
Ни воды родниковой!
Ни селений альпийских!
Ни домашнего крова!

Совершаю убийство
Не под тайным покровом:
Мрёт душа-анархистка
Задыхаясь в оковах.

* * *

В октябре путём таинственным
Листьям головы вскружило.
И деревьям многолиственным
Махом ветви обнажило.

Но листок, один-единственный
Затаился (быть бы живу!)
Вдруг отыщут и – насильственно...
И дрожит до всех прожилок.

Прав. Настроившись воинственно,
Чуя выручку, наживу-
За поимку «твоя, лист, вина!»
Лихо руки не сложило.

Отыскало. Взгляд убийственный-
Упыря. И – закружило!
Сбило. Чтоб проверить истину,
Глаза мёртвому смежило.

* * *

Вёдро. Ясная погода.
Утки по реке плывут.
Девки водят хороводы.
Бабы родят, дети мрут.

Гомонит толпа. Народу...!
«Выжига, разбойник, плут!
Заждались топор с колодой!» -
Стеньку Разина ведут.

«Воронки», Ежов, Ягода –
Званья, рвенья – не спасут.
Снова слышен глас народа:
«Знать виновны, коли суд.»

Заклеймили. Прошли годы.
Щупальца раскинул спрут.

Демократия! Свобода!
Списки бухнут, всех «пасут».

Далеко ещё до коды.
Бабы родят. Дети мрут.
Несминаема порода.
Неснимаемый хомут.

* * *

С утра шумит взволнованный прибор.
Рядами плиты, плиты... Слева, справа.
Склонились лапы ели голубой,
Венки, цветы, оркестр играет Grave.

...Лежит боец, прижав ружьё рукой.
Глаза открыты, вдавлена оправа.
Плывёт земля расплавленной рекой.
И не узнать состава её сплава.

«За Родину! В атаку, братцы, в бой!» –
И мчатся за составами составы
В разрывы, грохот, канонаду, вой,
К основе, к тверди, не к Аллее Славы.

«Взять высоту! Ответишь головой!»
«...Посмертно наградить за переправу.»
Четыре года на передовой...
Одесса, Бельцы, Бухарест. Острада...

...В Берлине май. Цвет неба голубой.
Венки, цветы на плитах – слева, справа.
Печаль на лицах. Зазвучал гобой.
И подхватил оркестр tutti «Grave».

* * *

Каждою клеткой хотелось совпасть.
Не было сметки – любви, страсти – всласть!
Метко, не метко – неважно: всё в масть.
В комнату-клетку: друг к другу припасть!

Старость-соседка раззявила пасть.
Сетку поставила – хитрую снасть:
Капли, таблетки – ну что за напасть!
«Молодость, детка, не вечная власть».

* * *

Зависеть от чужого мненья?
Но мненья в основном виляют.
«Они, вы, мы» – местоименья
«Я» – своим весом подавляют.
«Мы – слева!» – в моде полевенье.
«Мы – справа!» – не воспринимают.
«Мы – в центре!» «Что за проявленья?»
Нас ваш центризм не умиляет»,
В «зависеть» – доля услуженья,
Зависимость – закабаляет.
Своим не веря убежденьям,
Тем наполняться, что вливают.
Зависимость – чужое пенье.
«Они» и «мы» – так, подпевают.
Послушно следовать за тенью?
Но в темноте и тени тают!
Зависеть от чужого мненья?
Вину, грех – удесятерят.
Зависимость – есть преступленье.
И волен, кто её теряет.

* * *

Кусты сухоруки,
В зальсинах буки,
Паук не сучит нить на веретене.

Берёзы в желтухе,
Сник клён красноухий,
Прилеплены мухи к чуть тёплой стене.

Стреляют в цель луки.
Шум, шелеста звуки.
Немеет земля в проржавевшей броне.

Свод цвета макухи
Раздраил вдруг люки –
И тонут лохмотья в тягучей слюне.

За встречей – разлуки,
За «аз» следом «буки»,
За августом – осень на рыжем коне.

* * *

«Счастья, радости, деток, здоровья,
Долгих лет вам, живите в ладу».
Это было всё – до. Предисловьем.
А на завтра: «Дождись. Я приду».

Чёрной цепью снуют в изголовье
Муравьи, чуя запах, еду.
Аккуратная дырка над бровью.
...Он погиб в сорок первом году.

* * *

Отойти, выпасть из хоровода.
Не искать мелководья и брода.
Вглубь пытаться копать, до породы,
До тех пор, пока мозг с кислородом.

Не зависеть от веяний моды,
Не зависеть от мненья народа.
В одиночестве – поиски хода.
Одиночество – значит: свобода?

МАРК ШЕЙНБАУМ

ЦИПЕРМАН... ЦИПЕРМАН...

(Из заметок врача)

Больной, которого мне предстояло проконсультировать, был тучен и заметно страдал одышкой. Его лысина сияла даже при отсутствии поблизости какого-либо источника света.

Прошло с тех пор больше полувека. Нет уже страны, где это происходило, пациент давно ушёл в мир иной и диагноз не составляет больше тайны: столь грандиозный геморрой хирурги называют «генеральским».

Григорий Михайлович Циперман, так звали больного, отсиживал свой восьмилетний срок заключения в лагере строгого режима, расположенном неподалеку.

В абсолютно штатский районный тубстационар, где произошла наша встреча, он попал, поскольку болел туберкулёзом. Геморрой был «приложением» к его основному заболеванию. Как он сообщил, с геморроем он давно сжился, но над его головой дамочным мечом висело предсказание знаменитого в их городе профессора Гуревича, который будто бы изрёк: «Циперман, Циперман, твоя задница тебя погубит».

Каким образом он оказался в районном тубстационаре было тайной. Больных туберкулёзом в любом лагере в избытке. Их обычно «лечат» на месте, никуда не отсылая. Но самым загадочным было то, что Циперман находился здесь без конвоя. Заключённых вне лагеря обычно сопровождали два «ангела хранителя» с автоматами Калашникова. Видимо у Григория Михайловича сложились прямо таки сердечные взаимоотношения с лагерным начальством, обусловившие столь высокую степень доверия к нему.

Закончив осмотр и дав свои рекомендации, я уже собрался было уезжать, когда здешний главный врач, мой близкий друг, предложил мне задержаться и послушать рассказ Ципермана о его злоключениях, приведших его в заведение, которое его обитатели именовали

«лесной санаторий строгого режима». Лагерь действительно располагался рядом с великолепным сосновым лесом. По просьбе моего друга, пациент охотно повторил свой рассказ. Мне вспомнилось, что некоторые детали из этого рассказа несколько лет тому назад мелькали в фельетонах республиканских газет с ненавязчивым подчёркиванием имени и отчества их героя – «Григорий Михайлович, он же Герш Мошкович».

Рассказ Ципермана звучал приблизительно так: «Вскоре после войны я, её участник (вся грудь в орденах), был назначен на должность директора коммунхоза в одном из крупных городов Украины. Как вы понимаете, коммунхоз крупного города – это хозяйство со множеством подразделений и контор. Коммунхоз, как многорукий Шива, причастен ко всему, начиная с посадки кустов роз на площади перед обкомом партии, и кончая ликвидацией течи в сливном бачке у тёти Фриды. В моём подчинении оказались все гостиницы города, все ЖЭКИ, невероятное количество всяких «снабов» и складов и многое, многое другое. И везде «материальные ценности», просто, уйма этих материальных ценностей. Порой, объезжая своё хозяйство, я думал о том, что вряд ли сам Морган распоряжается там за океаном таким количеством всякого добра. Возможно, и у Рокфеллера общий годовой баланс не отражает столь гигантских сумм, какие были в моём коммунхозе. Впрочем, с финансовыми отчётами заокеанских акул я знаком не был, да и как сравнить их неустойчивый доллар с нашим твёрдым рублём.

О моей успешной деятельности свидетельствовали многочисленные грамоты на стенах нашей конторы. Я уже не говорю о том, что «Переходящее красное знамя» министерства постоянно располагалось у меня за спиной в кабинете. От него исходило какое-то устойчивое, уютное тепло и чувство защищённости.

Меня даже представляли к какому-то ордену, но что-то там не совсем подошло, возможно, возникли какие-то сложности в написании моего имени и отчества. Меня постоянно приглашали в президиумы в дни торжеств, и вдруг... приглашать перестали. Оказалось, что случилось непоправимое: перед праздником «8-го марта» мой посланец перепутал квартиры и занёс подарок, предназначавшийся жене первого секретаря по несколько иному адресу, а ей достался подарок предназначенный всего лишь супруге какого-то мелкого инструктора. Непростительная, невероятная оплошность!

Вскоре после этого злополучного праздника у меня начались неприятности. Ещё не очень жарко пригревало весеннее солнце, когда последовал первый вызов в прокуратуру. Речь шла о недостатке водопроводных труб на одном из складов. К этой недостатке будто бы был

причастен и я. Трубы нашлись далеко от нашего города, на участке, где строился особняк главного врача одного из трускавецких санаториев. Следователь настаивал, что в деле имеется какая-то моя записочка. Мне было трудно спорить со следователем. Часто действительность заставляла прибегать к бартеру, когда трубы отправлялись куда-то взамен на гвозди, доски, фурнитуру, и чего греха таить, могло случиться, что и взамен на путёвку в санаторий. Записочка в деле была не моя, а кого-то из замов, но, чтобы вопрос решился без дальнейших осложнений, у жены следователя появилась какая-то новая безделушка, что-то новенькое украшало и не весьма приглядный экстерьер жены прокурора города. Дело закрыли.

Прошло немного времени и возникло дело по поводу пересортицы досок. Опять по мелочам: где-то вместо качественных досок оказались нестроганные, плюс случайная недостача около 200 кв.м высококачественного паркета, на который до того положил глаз кто-то из начальства для ремонта своего особняка. Я об этом, до вызова в прокуратуру и не слышал даже. Не припомню деталей, но пришлось пригласить адвоката из Киева. Его высокая квалификация, подкреплённая кое-какими осязаемыми мелочами, снова привела к прекращению дела. Затянулось недолго, вскоре появилось новое дело. На сей раз я оказался за решёткой. Речь шла о недостатке красок на смехотворную сумму в 8700 рублей, тех ещё красавцев рублей с изображением Древнего Кремля крупным планом, что были в ходу до хрущёвской денежной реформы. Позже это составило, как вы понимаете, жалких 870 рублей. Но слово «тысячи» тогда звучало внушительно. Во многих газетах появились статьи о моей несправедливой жизни. Говорилось там о личной «Волге», даче, яхте и бог весть ещё о чём. Особенный упор в этих статьях делался на тот факт, что моя супруга Софья Абрамовна принимала молочные ванны. Если быть честным, то это было чистой правдой. Ей эти ванны приписал всё тот же профессор Гуревич. Вообще, ничего столь уж криминального я в этом не вижу. Когда Софа залезала в ванну, там уже не так много могло поместиться молока, а молоко стоило тогда копейки. Мои беседы со следователем были весьма предметными. Я сумел ему доказать, что тех огромных количеств краски, которая будто бы пропала, я не брал, она мне просто не нужна. Потом даже оказалось, что ни одна из наших контор и даже все они вместе таким количеством краски никогда не располагали. Всё было сплошным наветом, и, представьте себе, по этому навету мне вlepили восемь лет. (По году за каждую тысячу, а 700 рублей оставили как бы авансом на будущее). Вот вам и праведный суд, вот вам и самый справедливый в мире. Поверьте мне хотя бы вы! Клянусь вам, что к этой краске и к этим восьми тысячам с

хвостиком я никакого отношения не имел, как и ко всем трубам и доскам , которые мне раньше инкриминировали ».

Циперман замолчал, в кабинете воцарилась тишина. Затем он вздохнул и тихо произнёс: «А тот миллион, который я действительно украл, эти тупицы так и не нашли».

АНТОНИНА ШНАЙДЕР-СТРЕМЯКОВА

НЕВЫДУМАННЫЙ УРОК

Из Советского Союза в Германию с семьёй старшего сына Паулина выехала в середине восьмидесятых. Незадолго до Рождества 2007-го ей исполнилось 88, и родственники с внуками и правнуками пришли её поздравить. Прекрасная рассказчица, старушка сегодня тихо любовалась молодыми. Пели много и слаженно, как в застольные советские времена, всё больше славянские песни – жили в своём доме и коренным немцам не досаждали.

Удачное многоголосье украинской «Рэвэ та й стогнэ Днипр широкий» растрогало бабушку. Пытаясь успокоить, начали выяснять причину. Прожившая полвека среди кержаков¹, старушка не спеша протёрла глаза:

– То любима песня мово начальника была. Каждый раз, когда её пел, плакал. У вас она хорошо вышла – вот и напонила.

Всех одолело любопытство, что был за человек тот начальник, коль слёзы вызвал. Боясь, что мать «разволнуется – давление поднимется», хозяин попытался осадить гостей, однако, четырнадцатилетняя Крестя, девочка броская и напоминавшая молодую бабушку, рассудила по-другому.

– Тоже мне, пап, скажешь. Думать все равно не запретишь! Расскажет – и мы знать будем. Выговорится, молодость вспомнит – кому хуже будет?

– Да как там молодость – слёзы да голод! – отмахнулась старушка больше для приличия.

– Ну, про любовь расскажи, – и Крестя застенчиво улыбнулась.

Услыхав «про любовь», мальчишки, что были поменьше, приснули в ладошки, втянули плечи, закосили глазками, будто речь шла о чём-то постыдном.

– Не до любви тогда было – в семнадцать мы много работали.

– А у нас в классе уже сейчас влюбляются, – не отставала Крестя.

– Любовь, она разна бывает – тот начальник, как дочу, и любил меня. Отеческа та любовь не раз потом выручала, може, даже и спасала.

– Вот и расскажи про ту «отеческу» любовь, – подгоняла девочка.

– Мне он тогда старым-престарым казался, а было ему чуть за шесть-

десять, совсем ешшо молодой, – и, обеда всех большими, всё ещё прекрасными глазами, улыбулась малышам. – А как звали-величали Землю, где я и папка ваш родилися, откуда мы в Германию приехали, – знаете?

– Россия! – удивилась Крися.

– А вот и нетушки!

– Не забывай им, мать, головы, – вмешалась красавица-невестка.

– Зачем им про то знать?

– Знания никогда никому ешшо не мешали, а детска память высвечиват, как зарнички. В ту пору страна наша Советский Союз называлася,

– слыхали?

Взрослым стало ясно, что бабушка настроилась преподавать детям урок, на который у них ни сил, ни времени обычно не находилось.

– Ешшо СССР её называли, Союз Советских Соцьялистических Республик, – загибала она пальцы для большей, видимо, убедительности. – В 17-м царя скинули и власть Советов установили, так её ешшо «Страной Советов» называли. Огро-омна была страна! В девяности её помене сделали, но всё одно ешшо больша осталася, и старое название вернули

– Россия. А шо война была – знаете?

– Знаем, – ответила Крися, – вторая мировая.

– Шо второй мировой была, мы не знали тогда. А каки страны в ей воевали?

– Германия, Россия, Англия и Америка, – неуверенно отозвалася Крися.

– Просты советски люди, мы тогда токо Германию знали. Не любили немцев, ох, и не любили!

– Почему? – осмелел семилетний Саша, к школьной жизни ещё только приобщавшийся.

– Война с кем была? – подключился к разговору отец.

– Ну, с немцами.

– А мы кто?

– Немцы.

– То-то и оно...

– Через два месяца после начала войны (мне к тому время токо-токо семнадцать стукнуло), – опять переняла инициативу бабушка, – выслали всех российских немцев из бывшей республики.

– Как выслали – куда? – натянутой струной отреагировала Крися.

– Куда? – и задумалася. – А кого куда! В Сибирь, Казахстан, Алтай. Кого прям в поле оставляли... на снегу, как нашу, к примеру, группу. В ней сто, мож, и боле человек было, а выжило, думаю, не боле двадцати. В буран по степи блудили. От устали и голоду тут же падали и замерзали. Кажный не о друг дружке – за себя думал. Я тогда и матерь с малой сестрёнкой потеряла. Кто покрепче да посылне был, всё шли да шли – на

стог и набрели. Зарылись поглубже в сено, два дня буран и переждали. После вылезли, идём, сами не знаем, куда. Хорошо – человек на санях попался. В деревню, колхоз маленький, привёз. Там и остались. Приходить в себя начали. Потом на учёт всех поставили, в комендатуру, значит.

– Хорошо, что я тогда ещё не родился, – сжался маленький Саша.

– Конечно, хорошо – щас вы и обуты, и одеты, и сыты. Про голод и времена те тяжёлы либо в книжках прочитаете, либо от нас, бабушек-дедушек, наслушаетесь. Глядишь – и в рассказни не поверите.

– Давай дальше, – не терпелось Кристе.

– А про трудармию слыхали чо аль нет?

Дети переглянулись – не слыхали.

– Трудармию в начале войны образовали – то лагерь такой, на заключение похожий, но держали в ей больше немцев своих. Ешшо верующише попадались, иногда и офицеры, шо царю-батюшке служили, словом, все, кто ненадёжным и вредным шшитался, хто «проклятьем заклеймённый» был.

– А почему лагерь? Армия же!

– Армия-то армия, токо трудовая, – и круглым гребнем провела по седым волосам. – Дисциплина в ей, как и в военной, была, но к людям, как к преступникам, относились. Народу в обеих армиях много погибало-помирало, токо в военной всё больше от ранений, а в трудармии – от голода, холода и издевательств. Мёртвого под номером, без имени, как заключённого, хоронили. По-разному люди и держали себя: в боевой ходили с гордо поднятой головой, в трудармии – с опущенной и тупым взглядом. Начальников командирами называли, рабочих на отделения и взводы разбивали, штрафников на ночь в карцер толкали, тюрьму таку маленьку, но днём всё одно на работу выпускали. Оно всё бы ничо: работы не боялись, да уж больно унижали нас – все ослабленны почти сразу и поумирали.

Взрослым это было знакомо, и они либо погрузились в свои думы, либо в знак согласия чуть заметно иногда поддакивали. Дети сидели тихо – слушать «про старину» любили.

– Ну, а дальше-то – что? – тормошила старшая.

– Дальше? Занесло меня почти шо на самый север, почти шо в тундру. Тоска кругом... Когда-то мужска колония там была, заключённых держали. Куда подевали заключённых, не знаю. Слух был, шо в штрафны роты их определили, но точно сказать не могу. Мужиков всего пять человек оставили. Они учили, как в тех краях выживать. Женщины пни корчевали, землю под картофельны поля готовили. Лето там хоть и коротко (два месяца всего), но картошка не хуже, чем на юге, доходила.

Не желавший вначале, чтоб мать расстраивалась, сын не сдержался и тоже понукунул:

– Ладно, так уж и быть, мать, расскажи тогда поподробней, как жили, работали.

– Меня в ту пору всё больше за цыганку принимали. И волосами, и глазами чёрна – на немку мало похожа. Активна была – в лагерной самодеятельности чо токо ни вытворяла! И пела, и плясала, и в спектаклях играла. А каки-и тагда спекта-акли ставились! В соседях, километрах в 60-80 от нашего лагеря, в Ивдель-лаге, известны артисты жили. За каки грехи их там держали, они и сами не знали. Вот вы игру Андрея Миронова любите, его героев Остапа Бендера в «Двенадцати стульях», Гешу Козодоева в «Бриллиантовой руке» и много других фильмов, где он снимался.

Гости переглянулись: какая, оказывается, бабушка у них знающая! С лёгкостью назвала роли, какие они либо уже забыть успели, либо даже и не знали.

Пока старушка сморкалась, хозяйка поднялась и вышла на кухню. Сидели, потупясь, вздыхали, переглядывались.

– Мне, семнадцатилетней, повезло: летом на картофельных полях работала – от голода, как большинство трудармейцев, страдала не очень. На русском я говорила, читала, писала – меня командиром отделения и сделали. Рабочи листки заполняла – по ним кормили, паёк трудармейский выдавали.

Старшим агрономом был у нас Исаак Альбертович Щербинин, высокий такой, крепкий старичок, военный офицер старых ешшо времён, как раз тот добрый начальник, по ком я шас и плакала. В 1917 году царя скинули, а Щербинин за царя воевал, но выехать за границу не успел. Потом нова советска власть установилась. Грамотных в стране не хватало, и его писарем куда-то взяли. В сваре гражданской войны, когда брат на брата пошёл, а сын на отца, он как-то выжил. А пошли доносы и слезки – тут и началось! Люди, как на вулкане, жили. Не знали, откуда и в како время беду ждать, днём али ночью за имя придут, арестуют али нет. Уцелеть царскому офицеру в середине тридцатых было всё одно, шо остаться в живых после цунами: Исаака Альбертовича арестовали и отправили туда, куда Макар телят не гонял, в общем, откуда почти никогда не возвращались.

Срока ему не дали: «до особого распоряжения» находился, то есть в любое время могли его и отпустить, но могли и до конца жизни продержать. На Украине у его была жена и дочь, теперь не знал даже, шо с имя и где они. Дочка – ровесница мне. В начале войны ей тож семнадцать было. Я её напоминала – он ко мне и привязался, да и я к ему тож, как к отцу, относилась.

Из кухни донёсся свист пара о крышку кастрюли, и хозяйка прервала рассказ:

– Давайте чаю попьём, а после дослушаем.

Дети зашумели: «Потом чаю!», но присказка бабушки «Дайте только

срок – будет вам и белка, будет и свисток» рассмешила их, и они побежали за тарелочками, вилками, ножами. Расставляли стаканы для чая, мирно пили кто с конфетами, кто с печеньем. Убрали посуду, и бабушка продолжила.

– Сначала то́ка картошку сажали, а после – и други́ овощи. Лучче всего любили морковь. Убирать её было тако блаженство, тако щастье! Ели украдкой, а хруст всё одно стоял. Когда съедали-прятали картофелинку али морковочку, я делала вид, шо ничо не вижу. При входе в лагерь нас «шмонали» – проверяли, значит. Иногда шо-нибудь и проносили. И зависело то от счастливого случая, но чаще от тех, кто шмонал. А хлеба всё одно хотелось!..

Подсчитать её драгоценну горбушку (само больше 700 граммов, само меньше 300) было тяжелше всего! Кажна кроха от сделанной нормы зависела, а её всегда хотелось немножко прибавить, потому как, на скоко кто её выполнял, на стоко и хлеба получал. Командиру отделения, мне точно требовалось подсчитать, на скоко процентов кажна выполняла и перевыполняла план. Работающие, кроме хлеба, получали ешшо ложку овсяной, реже – пшеничной каши, зато пусту баланду давали всем: и больным, и умирающим.

Кто был послабже, я старалась помочь. Начальство одёргивало: «Не твоё, мол, это дело!» Притворялся, будто ничо не видит, один токо Исаак Альбертович.

Стары офицеры дореволюцённых времён любили модны в ту пору романсы, песни печальны таки и тягучи. Любил их и Щербинин, частенько просил:

– Иди, доча, посиди со мной – называл токо так: «доча».

Я очень тем гордилась. Вот как боятса разбить хрустальный стакан – уж больно дорогой он, ценный, – так и я отеческо то тепло разбить-потерять боялась.

– Уважь, говорит, старика, – и начинал: «Рэвэ та стогнэ Днипр шырокий...» али «Ямшишк, не гони лошадей... мне некуда боле спешить, мой путь неизвестно куда». Песни душу выворачивали, тоской отзывались.

– У Исаака Альбертовича был о-очень приятный бархатистый такой голос. Закрывал глаза, и по лицу можно было догадаться, об чём песня. Он вторым пел – я первым помогала. На лицо морщинисто его смотрю, а у самой слёзы сами собой, как и у него тож, из-под ресниц накатывают. Поём да плачем то ль от жалости к песне, то ль к самим себе. Щас часто думаю, шо он просто певец такой был – от Бога.

– Шо творилось в его душе, об том токо догадывалась. О себе мало думала: жисть тока начиналась, впереди была, длинна и долга. Помню, твёрдо верила – другой она будет.

– Весной, до начала полевых работ, женщины резали и складывали штабелями (ряд такой длинный) лозу зимой из неё корзины плели. Норма выработки была не так, шоб очень большой, работа не так, шоб очень трудной, и Исаак Альбертович маленьку хитрость мне подсказал:

– Не надо, мол, всю выработку указывать. Зимой на лесоповале на холоде норму выполнить не всегда удастся. Шоб в мороз не лишиться хлеба, главного продукта питания, можно будет приписывать к работе то, шо оставалось от весенней переработки. И план, мол, сделаете, и с хлебом будете. А выжить с хлебом и правда было легче.

– Так ведь подслушали – донесли. После работы на допрос к какому-то высокому начальнику вызвали. Ну, я и призналась: не всю, мол, выработку указывала. Наказание было коротко: пять суток карцеру – это ешно легко отделалась! Акромя пустой баланды, в эти дни ничо мне больш не причиталось. Пять суток в холодном сарае карцера – боялась, конечно. Но тяжельше всего было рядом с голодными крысами. А их не то, шоб видимо-невидимо, но много.

Подвели к сараю, открыли, а он – чем токо не заставлен: сеялки, веялки, плуги, косилки и всякий разный инвентарь. Одно на друго под саму крышу: не токо лечь – встать негде. Взобралась кудай-то, но быстро устала: чо-то железно в ногу врезалось. Смотрю: у самой крыши – маленько окошечко, а под им небольшо такò углубление – ниша. Перебралась к окошечку, перекинулась. Одна половинка – вверху, друга – внизу. Тело до пояса отдыхало, и я маленько подрёмывала.

Утром открыли: «Выходи на работу». Слезла, как побита, вышла. Дорогой в поле водички попила, как поела. Работала вяло. Сыру картофелинку съела – больш не хочу. Явился Щербинин. Начал жаловаться: кошмары, мол, ночью виделись, сердце болело. Молчу, обидно потому как. А потом зло ему так, между прочим, бросила:

– А мне какво – в карцере было?

Он глаза вскинул:

– В каком карцере?

Ничò, выходит, и не знал. Всё ему рассказала. Он поматерился, побушевал: «Сволочи, каналы, душегубы!», потом успокоился и коротко под конец бросил:

– Больше в карцер не пойдёшь!

– Как так – «не пойдёшь»? Узнают – щё больше накажут.

– Не накажут – ключ себе возьму. Потом скажем, шо отсидела.

– Зашишшал и укрывал он меня частенько, но однажды чуть не сгубил. И не токо меня, а и всю нашу бригаду. Одна из трудармеек, слаба и больна очень, плохо свою делянку выполола. Щербинин разгневался – на меня накинуся:

– А ты куда смотрела – работу зачем приняла? – и приказал на пять дней лишить всю бригаду хлеба.

– Женщины плакали. Я молча кусала грязны ногти, думала-думала, а выхода не находила. Много с того времени прошло, а себя со стороны, как щас, вижу – бешено металась по бараку и дико крутила колёсиками цыганских глаз. Густой, как и у Кристи, волос, – улынулась она в сторону девочки, – от быстрой ходьбы разлетался. В голове разны спектакли крутились и становилась я то зла, то озорна, то смешлива. Через како-то время придумала, как делу помочь. Рванулась к Щербинину и бросилась ему в ноги:

– Взгляни на юношу отца, шо предан вам за три гроша. Ни мать, ни отец его не ласкали, токо степны ветры по ночам качали. Ежли хошь, я пред Богом и святым алтарём клятву дам: куда бы ни забросила судьба, везде и всюду вам подругой буду! – замолчала, подумала и от себя добавила. – Отец, може, ваша дочь в это время тож кусочек хлеба просит, как и я, токо у другого офицера, немецкого. Смилуйтесь! Он огорошенно молчал, подошёл, поднял.

– Будет вам, доча, хлеб! Умеешь старика задеть, знаешь, чем. Откуда слова те?

– Из спектакля. «Крепостно право» называется, – и, хоть и поняла, шо голод бригаде уже не грозит, для пущей убедительности, добавила: «Люди с этой нормой голодны работают! Уберёте – совсем ноги протянут. Ну, кому, отец, лучше будет?»

– Уговорила – ступай. Будет вам хлеб.

– Женщины вижжали и прыгали: «Спасительница ты наша!», и с того времени особо уважительно ко мне относились.

– С Исааком Альбертовичем мы потом ешшо часто пели.

Женщины слухали наши концерты и тож, бывало, плакали.

– А до Победы старик не дожил: как раз за день до неё и помер – ночью сердце отказало. На похоронах мне казалось, шо родного отца потеряла.

Она замолчала. В установившейся тишине каждый по-своему представлял себе молодую бабулю, её начальника и холодную песню тундры.

А сейчас, одинокими вечерами, когда «бешеным шумом и свистом в окно ветер осенний стучался», старушке вспоминалась песня начальника трудармейской жизни: «Скоро, уж скоро найду я покой, скоро навеки усну я». Печальный её вопрос: «Не по тебе ли рыдает тоской жалобный ветер осенний?» – стал созвучным аккордом стареющей души, а слёзы доброго человека из нелёгкой молодости – её слезами.

¹ потомки старообрядцев, староверов.

ЕЛЕНА ЗЕЛЬГЕР

ПАДЕНЬЕ-ПАРЕНЬЕ

Я падаю в пропасть
И пропасть конца не имеет!...
Я падаю в пропасть,
Сжимается сердце, немеет...
Всё дальше и глубже
Лечу я сквозь зимы и вёсны...
И даже порою
Вокруг появляются звёзды.
Я думаю – небо!
Не падаю я, воспаряю!
Но падаю дальше
И только потом понимаю:
Пронесются мимо
И дети, и внуки, и грёзы...
Паденье-паренье
Считает мне зимы и вёсны...

ШОКОЛАДНИЦА

Бабочка взмахнула крыльями
И опрокинула смысл мысли сна.
Шоколадница.
Царица коллажа.
Паж жара птицы полей.
Баттер-фляй !
 Крылышки вверх!
 Фляй!
Шметер-линг!
 Крылышки вниз!
 Линг!

Дыхание лета.
Взмах ресниц Божественной Леты.
Улыбка светотени.

Баттер-линг!

Фея сиюминутности.

Здравствуй!...

Прощай!...

Прощай!...

Здравствуй!...

НА БЕРЕГУ ЗИМЫ

Мы б не сумели
В ту же воду войти.
Сумерки зрели
Облаком на пути.
Чуть моросило,
Явь повторяла сны.
Сердце спросило,
Сердце ответило – «Мы!»
Мы – через сроки
На берегу зимы.
Даже сороки
Были удивлены!
Вслед нам глядели
Дамы из галерей.
Так Эвридику
Мог обожать Орфей.
Так Галатею
Создал Пигмалион.
Люди, смотри-ка,
Это Она и Он!
Мы их узнали –
Он это и Она!
Их совокупность
Свыше освящена!

ПЕЧАЛЬНЫЕ СНЕГА

Я буду печальной,
Печальней сирени,
Печальней заоблачной трели свирели...

Я буду печальной,
Я буду венчальной,
Печальнее ангельской песни звучанья...

Печальнее снега,
Печальнее звона,
Нежнее, чем флейта, прозрачнее стона...

Воздушнее неги,
Белее, чем иней!
Щемящее-манящей и неуловимей...

ДЫХАНИЕ СЕКУНДЫ

Дыхание секунды,
Рифмы взмахи –
Подобие и бабочки и плахи –
Узоры бытия,
Чешуй крупницы.
Элегия боязни заразиться
Желаньем жизни.
Линия моя
На крыльях бессердечной балерины.
О! Медленный танцор!
Она невинна!
Нevinна!
Скоротечная моя!

СЛОЖЕНИЕ ЛЕТ

Сложение лет –
вычитание жизненных сил.
Учитесь летать,
Но, прошу, без летальных исходов.

Учитесь входить, восходить
Очертаньем светил,
Учитесь светить,
Невзирая на время и годы.
Горда и богата
Не выгодой – выучкой лет.
Нет! Летних мотивов,
Осокой скользящими в рану.
Пронзительно рано! Так рано!
И зреет рассвет...
За рамой,
За жизни оконною рамой.

ПЕНЫ БЕГ

помешиваю постепенно
в кофейной чашке пену
мгновенно новые вселенные
рождает ложечки кружение
до остывания мгновения
до узнавания затмения
короткий пены бег

ВЛАДИМИР СЕРГИЕНКО

Из цикла «МЕТРОПОЛИИ»

МОСКВА

(Саиду, что муж Сесию и АГБ.)

Глаза... Тут нужно отложить перо, и не писать. Взять у китайцев иероглиф, обозначающий паузу. И держать эту паузу до тех пор, пока конкуренция, (как богиня склок), между читателем и автором станет беспомощной. Потому что... Все всё понимают. Ведь глаза... глаза... Они везде... Они всегда...

И кто бы что не говорил, главным является все таки признак «свой-чужой». Насколько свой. Насколько чужой. Вот они курточки не по сезону. Молодежь хорохорится, как и *дцать лет назад. А вот троллейбус иноходью. Как и *дцать лет назад. Вот вороны, как и *дцать лет назад. А вот и первые глаза, опознав в тебе своего, подарили улыбку. Не флирт весенний, а честную улыбку. А там бульварами, бульварами. Потому что соскучился. Потому что родное все. И плевать на лужу, не по-взрослому, прокравшуюся в ботинок. Плевать на нахамившего вчера при въезде ... Эх, на все плевать. Дышать – не надыхаться. Глядеть – не наглядеться. Блаженную улыбку надо придержать, до скамейки, которая в конце уставших переулков. Присесть. И ... и вроде бы все. Отметился. Сделал одолжение ностальгии. Можно и в метро. Можно и домой. О господи ! А дом то где... Эх... Прости меня мой город. Прости. Спасибо что ты есть, спасибо что ждал. Спасибо что узнал. Казнить я себя не буду. Не буду. И... не предатель я. Так получилось. Я уже старый. А ты вон какой. В расцвете сил. И только глаза твои... правда остались такие же. Ну может их на пару миллионов больше стало. А так, по сути...такие же они. Сейчас пойду дальше. Свиделись. Обнимаю тебя...

Эйфория отстала от пожилого человека. Осталось непонятное, сиротское стремление куда-то спрятаться. Накрыться с головой. Шаркающая походка спустилась в подземный переход. И вдруг. Не может быть. Я не верю своим глазам. Неужели это он. Неужели??? На равноудаленном расстоянии от лестниц лежал гитарный чехол, расстегнувший свое

брюхо для бросаемых щедрот людей проходящих. На гитаре играл все тот же, я не верю своим ушам! Все тот же! Не может быть...

Тогда это было чуждо – выйти на паперть. А он вышел. А мы вышли с ним. Он работал в этом переходе. А мы приходили, когда его работа заканчивалась. Он закрывал чехол и играл по-другому. И пел по-другому. А мы вместе с ним...Сколько ж воды утекло...

– Здравствуйте!

– Вы наверно меня не помните?

– ... Я ...

– Ты поговори еще, добрый человек, поговори. А я глядишь и вспомню. - Он посмотрел на меня, своими пустыми глазницами. И улыбнулся. Как «свой»

– Мы пели с вами, с тобой – слова как-то забуксовали, – после вашей работы. Каждый вечер. Диана рыжая, Вовка , я и ...

Глупо. Раньше и в голову не приходило, что он не знает рыхесть, Дианиных волос. Кикс получился.

– Подойдите поближе, я посмотрю на вас. – Я подошел к протянутой руке. Жесткие ладони плотно пробежались по моему черепу. – Извините. Не помню.

Неловкое молчание с моей стороны перешло в его пение. Последний грех. Ты догнал меня. Молодец, город. Молодец. Справедлив ты. Шаркающая походка спринтерски поймала такси. Автовокзал. Загорск. Пересадка. Пешком километра три. Покосившийся дом, которым брезгуют даже беглые. Баня, растасканная на дрова. Жестяная банка под печкой. О чудо. В банке часы. Ручные. Даже ремешок не сгнил. Назад. Темнеет. Попутка. Успею? Успею! Зачем мы их тогда взяли, часы эти чертовы? Зачем? Как диковинку. Не вернули, даже как не трофей. Как сувенир из глупого детства. Как игрушку, из тех времен, когда не понимаешь , что не все игрушки твои. А ведь понимали. Шаркающая походка вытерла пыль с часов. Завела. Нажала на кнопку на корпусе. Стекло со скрипом, подняло свое забрало вверх. Жесткие металлические стрелки поддались легко.

Не доходя до подземного перехода, уже издали был слышен слаженный хор. Возле закрытого гитарного чехла сидел молодой люд. И пел. Гитара резко остановилась. Все замолчали. Одиночеством резала тишину «шарканина».

– Это ваше, твое, – руки встретились. Музыкант взял часы. Погладил их. Открыл крышку. Пощупал стрелки. Покрутил завод.

– Я могу вам дать сто баксов, – голова музыканта поворачивалась в сторону беспомощных глаз, – если у вас еще будет, приносите. – Голова музыканта поднялась на уровень шаркающей походки. Гитара брякнулась . А глаза, глаза которые знают кто свой , а кто чужой, глаза кото-

рые всегда, глаза которые везде, глаза которые видят и не видят, глаза без слез, глаза без глаз – встретились. Хотелось, чтоб старики обнялись. Только этого никто не видел. Потому что, отбившись от стен, облетев полсвета, звук падающей гитары добил мигающие лампочки в подземном переходе. Что в городе находится, без которого я сирота.

БЕРЛИН

(Михе, скрывающемуся под псевдонимом «повар»)

Головы. Головы – они везде, головы – они всегда. Описывать – головы дело скучное, дело профессиональное. Разнообразие голов сопутствует опознанию тех, кто их носит. Или тех, кто носил. Закрытые или открытые чакры, в церкви, мечети и синагоге или храме буддистов. Гильотины и виселицы. Центр обработки информации в шароподобном отростке человеческого тела. Что бы кто уже не говорил про головы, которые всегда, которые везде – факт есть факт. Голова она «не токма шапку носить».

Взрослый грустный человек тщательно пробовал вытащить из волос, не сформулированный до конца ответ на остро зудящий вопрос. Вопрос имел вид, скорее всего, жирной, хорошо пропасшейся вши. Но можно допустить мысль, что это была жевательная резинка. На углу Grosse Hamburger и Sophienstrasse штрассе, взрослый грустный человек был всегда. Он мог сместиться на десяток метров в сторону еврейской гимназии, или решетки, выдувающей тепло из туннеля метрополитена. Колокольчики, штук эдак тридцать, а может и все пятьдесят, по всей одежде, так чтоб за версту все осознавали приближение субъекта, имели антикварные корни. Кроме колокольчиков, описывать нечего, разве что... Голову. Но давайте не будем спешить. Все по порядку. В начале о том, как бродяга передвигался по городу. Вокруг него стоял специфический перезвон. Перезвон настолько резко выделялся из повседневных звуков, что даже глухие оглядывались, и соответственно мгновенно уступали дорогу. (Думаю что глухие реагировали, на вытаращенные глаза и резкое изменение траектории передвижения других прохожих). Живущие в районе «Митте» не раз спорили, что подвергло колокольчико-носителя выходить на паперть. Версии, одна изысканней другой, не выделяли дополнительной премии в шляпу перед бродягой, но в полной мере выражали средневековый подход людей к отсутствию информации. У молодых мамаш, выгуливающих своих чад на Копенлатц и Августштрассе (просьба не путать с мамашами из закрытого двора напротив Монбизу парка, те не любят сплетничать и не сближаются на этой по-

чве), лидером была версия о несчастной любви. И колокольчики – это обет или проклятье. Аукцион снобизма, в виде экологического бара быстрой еды, придерживался мысли, что не вызывая ни у кого подозрения, колокольчиико-носитель стоит на службе внешней разведки одной из европейских стран. И привыкшие к нему не догадываются о визуальном контроле в периферии правительственного квартала. Сторонники этой теории не хотели знать о мини камерах и интернете, принимали иногда дозы жженой марихуаны, приводили в пример неизвестного офицера, чистившего двадцать лет на базаре в Турции обувь, и контролирующего агентурную сеть. Они заглядывали в глаза бродяге и видели там потаенный смысл и трезвость. Факт есть факт, у него были трезвые глаза, потому как он не пьянствовал. И у него в глазах присутствовал не скрытый, искристый, ясный, здоровый, добросердечный, я не побоюсь этого слова – «открытый» признак шизофрении. Шпион-колокольчик, ходил по детским площадкам. Ходил не тогда, когда на них кипела жизнь. Ходил тогда, когда они пустели, и мусорники начинали от переизбытка внутренних, вываливать содержимое наружу. В принципе беззлобная, не архитектурная достопримечательность объединенной столицы.

А вот теперь о голове. Она была аккуратная. Очень аккуратная. Какая-то правильная со всех сторон. Тяжело описать, но если вы увидите передвигающиеся колокольчики в Берлине, голова как то сама заявит о себе, в контексте собственной правильности. Или наоборот. Если вдруг увидите абсолютно правильную голову, то спросите себя, а почему сегодня эта голова без колокольчиков. На детских площадках хорошо видны задатки развития голов. Вот здесь плешь. Вот здесь чудные локоны. Вот здесь серебро и смоль, а здесь беззубая улыбка под широкоформатным лбом. Здесь вмятинка, а здесь ... Это уже потом «милых» по походке узнают. А бродяга и в самом деле мог часами стоять, и смотреть умиленно, смотреть, на бесконечный поток детворы. Смотреть через ограждение. Как-то поверх голов... Как то грустно. Как-то по-взрослому.

Мужик-колокольчик вытащил из волос то ли жевательную резинку, то ли вошь. Погоревал, повздыхал. Встал. Подтянулся. Попрыгал, как будто проверяя готовность колокольчиков сопровождать его, и тронулся в путь. Первая парикмахерская, с большой рекламой вдоль витрины, сообщала о скорости и дешевизне сервиса. Внутри было пусто. И не зеркально. Бродяга сел напротив. И конечно же он дождался неинтересного для этой истории посетителя. И как этот посетитель вышел из парикмахерской. Вторая парикмахерская была битком забита, типичной молодежью студенческих кварталов. Здесь наш герой провел уже побольше времени. Но тоже покинул свой наблюдательный пункт, не удовлетворенно и главное бесперспективно глядя в будущее. Потом

были еще пункты задержки, где были головы-головы, и ничего кроме голов. Время шло. Бездна пространства все больше и больше обволакивала. И как всегда, необъяснимо для непосвященных, но где то там, между пятнадцатью ноль-ноль, и шестнадцатью тридцати, вроде бы четвертая просмотренная парикмахерская победила в невидимом конкурсе, на право аккуратную голову привести в еще больший порядок. Не привыкший уступать дорогу, стал возвращаться в мир, где не все перед ним расступаются. Бродяга достал из карманов кусочки шерсти, тряпок, шнурков. Заткнул глотку всем колокольчикам и вошел в парикмахерскую. Абсолютно не дешевую, по преysкуранту, бесплатно кофе наливающую в очереди сидящим. Не сморщив нос, выбежала немолодая сотрудница и пригласила бывшего нано-звоноря в кресло. Современное общество. Продвинутых больше чем искренних. Короткое выяснение отношений, и уже кипит работа. А рядом в кресле – типичный член «антипоказного» общества из зажиточных представителей интеллектуального Западного Берлина, явно после окончания холодной войны переехавший в центр объединённой столицы. Спокойно, без лишних плебейских замашек, он дал знать, что за стрижку соседа, со всеми экстримами в виде массажа головы, мойки до, и мойки после, сушки и парфюмерии из навесного шкафчика, а не стоящую на виду у всех, расплатится вместо бродяги. Сказано – сделано. Бродяга молча поклонился соседу. Они вместе вышли, пожав на прощание друг другу руки. Две аккуратные головы разошлись во всех четырех измерениях. И снова занавес. И снова кульминация. И снова псевдоокончание. Бродяга не стал разматывать свои колокольчики. Он подождал, пока добродетель не скроется из виду. После чего зашел в ту же парикмахерскую, сел на тот же стул, к тому же мастеру мужских стрижек, и попросил обрить его наголо. Прежде чем покинуть салон, оставив на столе кучу мелочи, дополненную скомканными купюрами, он разглушил все колокольчики. С чувством досады о бездарно проведенном времени, как ледокол в людской толпе, он устремился к мусорникам на детских площадках, пока еще светло, пока конкуренты не обскакали.

ГЕНРИХ ШМЕРКИН

МОЛИТВА

Не от хвори, не от боли,
Не от снов, томящих плоть –
От позора и неволи
Охрани меня, Господь!

С раболепием особым –
Я прошу лишь одного:
Ты смотри за мною в оба –
Чтоб не слямзил где чего!

Чтобы с тещей был – как шёлков,
Дочку матом не бранил,
Чтоб с какой-нибудь кошёлкой
Я жене не изменил.

Чтоб фальшивые червонцы
Не чеканил, обалдуй.
Чтоб на статуе из бронзы
Не царапал слово «УЙ».

Чтобы долбанных соседей
Далеко не посылал,
Чтобы в дружеской беседе
Ничего на них не клал.

Чтоб утрат не знал я горечь
Иль досрочно не почил,
Чтобы сам какую сволочь
Невзначай не замочил.

Чтобы был, как из железа,
Правдой очи мог колоть –
От меня, головореза,
Защити меня, Господь!

* * *

Сонм сомнений. Ролей разборки.
Мельтешенье актёрских лиц.
Занавешенный мир гримёрки,
Благодатная пыль кулис.

Не мешайте! Закройте двери!
Обретает черты мой лик!
Настаёт упоительный пере-
воплощенья волшебный миг!

Судьбоносны вериги текста –
Роль затвержена наизусть.
Мне от них никуда не деться –
Я на бал Сатаны несусь.

Сердце замерло. Что вы смотрите?!
Миг спустя я вернусь сюда!
Всё. Мой выход. Свет рампы. Смокинги.
«Кушать подано, господа!».

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ

(Стихи для передачи по телеграфу)

= ГРАФИНЯ ИЗМЕНИВШИМСЯ ЛИЦОМ =
= ПРУДУ БЕЖАЛА БОЧКОЙ АПЕЛЬСИНОВ =
= НЕЙ МЧАЛСЯ ГРАФ БУТЫЛКОЙ КЕРОСИНА =
= ЗУБАХ ЗАЖАВ ГРАНАТНОЕ КОЛЬЦО =

= КРУЖИЛСЯ ВРАН ОСЕННЕЙ ТЕМНОТЕ =
= БРЕГУ ПРУДА ЗЛАТОЙ КАЧАЛСЯ ТОПОЛЬ =
= ТО БЫЛО СЛАВНОМ ГРАДЕ СЕВАСТОПОЛЬ =
= ГОДУ РЕВОЛЮЦЬОННОМ ЗПТ =

= КОСТРЫ ПАЛИЛИ ПРОСПЕКТАХ ПЕТРОГРАД =
= НЕ ВЕРЯ БОЛЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДРЯНИ =
= МЯТЕЖНЫЙ ПУЛЕМЁТОМ ШЁЛ СОЛДАТ =
= ПОДТЯГИВАЛИСЬ ЗИМНЕМУ КРЕСТЬЯНЕ =

= БЫЛ ЛЕНИН СМОЛЬНОМ ГЛАВНЫМ ТЧК =
= НЕВЫ АВРОРА УДАРЯЛА БУБЕН =
= КОМАНДОВАЛ ОТРЯДОМ ГРИША РУБИН =
= ПОСКОЛЬКУ ЗАПИСАЛСЯ ВЧК =

= ТО БЫЛО ЛЕГЕНДАРНОМ ОКТЯБРЕ =
= ЗАЛИВОМ БУРЕВЕСТИК НЁССЯ НИЗКО =
= ПОЧТАМТЕ НЕ СПАЛА ТЕЛЕГРАФИСТКА =
= ЛЮДСКОГО РАВНОПРАВИА ЗАРЕ =

* * *

Желаю своему врагу
Не стопку водки к пирогу,
Не кашу с мойвой на обед,
Не головой – о парапет,
Не гильотину во дворе,
Не кобру в мусорном ведре,
Не колбасы протухшей впрок
И не кинжал бандитский в бок.

О, ниспошли ему, Господь,
Не обессиленную плоть,
Не жар, не кашель, не озноб,
Не флюс, не язву и не зоб!
Пошли ему не Колыму,
Не пепелище, не суму –
Пошли ему любовь...

* * *

Е.П.

Через дюжины лет – плешивеют макушки.
Через дюжины лет – замыкается нить.
Через дюжины лет – оживают игрушки
И хозяевам вновь начинают звонить:

«Это ты?! Это я! Твой Сим-Сим! Вспоминаешь –
Тот шалаш?.. Тот гараж?.. И скамью у пруда?..
Мошकारа до утра... После выпуска... В мае ж!
Кучерявый такой – не теперь, а тогда!

Как живёшь? Ты не замужем? Что ты сказала?
Не повесился, нет! Всё вошло в колею.
Если б встретились мы, ты б меня не узнала...
Но всё так же... Ага... Вспоминаю... Люблю...

Вспоминаешь и ты?! Может, можно приехать?..
Не женился. Ну да. Не хотел. И – не смог.
Я приеду, ага? Ах, дела?.. Ах, потеха?!
Голова? Ты права. Извини за звонок.

...Через дюжины лет – облетают макушки.
Через дюжины лет – обрывается нить.
Через дюжины лет – оживают игрушки
И хозяевам вдруг начинают звонить...

* * *

Снова вязну в обманчивых встречах минутных –
На ветру, на юру, на миру – не во сне.
Утопаю в сугробах твоих неминуемых,
Прошлогодний мой снег, прошлогодний мой снег...

Ах, зачем я ботинки отправил в починку?..
Всё пускаешь ты вновь под откос кувырком,
До реснички сырой, до колючей крупинки,
До ледышки резной, до лодыжки знаком.

Прошлогодний мой снег, не мети мне на космы,
Не стучись в мою дверь, у ворот не кружи!
Иль не видишь, – как липы цветут, медоносны,
Как жара прижимает к земле гаражи?!

Пышет жаром асфальт, дышат битумом крыши,
Извергает кипящие взоры жена...
Ты же – снег! Прошлогодний! Немыслимый! Ты же...
Ты растаять, ты кануть в былое должна...

Прошлогодний мой снег...

МИХАИЛ ВЕРНИК

МЫ ЕДЕМ В ГЕРМАНИЮ

Первой о выезде заговорила жена Пети, Фира. Она долго объясняла, что они евреи и место им в цивилизованной стране. Украина отстаёт в своём развитии от Европы на сто лет, и поэтому будущего для своих детей она не видит. «Нужно ехать, – громко сказала она и посмотрела в открытое окно. Потом обвела взглядом притихшую семью и добавила, – «ехать надо, но только не в Израиль».

– Как? Почему? А куда ехать? Фира, ты что придумала? Мы же евреи как-никак.

– Вот именно, как-никак... Ты Петя, знаешь, что такое мужчина - еврей? Ну? Притих. Страшно.

– Тебе в Израиле ножичком... раз и всё. И ты королева. Потом доказывай, что ты был королём.

– Фира, не учи меня жить. Я знаю, что евреи на Новый год кушают мацу, а на Йом Кипур – фаршированную рыбу. Можно подумать, вы все евреи, а я нет. Вы лучше крестики снимите, а то одним тухесом на двух свадьбах гуляете. Тоже мне умники. У меня мама еврейка, и папа тоже.

После долгих переговоров с членами семьи Фира приняла решение:

– Всё! Мы едем в Германию. Там культура. Там театры. Там мы станем настоящими евреями.

После этого выступления Петю увезли в больницу. Он пролежал два дня и его выпустили. Врач сказал, что Петя отделался лёгким испугом, и поинтересовался, почему у больного уже второй день расстройство желудка. Фира ответила, что это скоро пройдёт, так как они уезжают в Германию. Там врачи намного лучше, чем в Одессе.

Сидя в поезде, Петя читал купленную на книжном базаре книгу – «Великие евреи». Каждую минуту он кричал на весь поезд:

– Не может быть! Ужас! И он еврей! Фира, ты обалдеешь! Сидор Кацапупенко – еврей!

– Петя, это же какой ужас. С такой фамилией и еврей. Они что, не могли найти другого еврея с приличной фамилией?

– Фи́ра, ты отсталый человек. Кацапупенко – знаменитый музыкант. Его фамилия, наверное, была Кац, а теперь Кацапупенко. А из Семёна, он стал Сидором. Вот и всё.

– Петя, ты мне скажи, откуда берутся такие фамилии? Вот ты Петя Кныш, а я Фи́ра Кныш. Это же ужас! У нас в семье все Кныши. И я умру как Кныш. И на мраморной плите ты напишешь: тут лежит Фи́ра Кныш. А люди будут проходить мимо и смеяться. Нет, я этого не переживу.

На главном вокзале Берлина Кнышей никто не встречал. Они взяли такси и назвали адрес лагеря для перемещённых лиц. У входа в лагерь стоял огромный полицейский и держал на поводке чёрную собаку.

– А гитен морген, товарищ немец, – начала Фи́ра, – дус ист а лагерь?

– Фи́ра, он не товарищ, он полицейский, и не говори с ним на идиш. Он не еврей.

– Петя, по-моему, мы приехали. Нас сейчас разденут и поведут под душ.

– Фи́ра, какой душ? Мы чистые.

– Петя, а вместо воды нам на голову будет капать газ. Я знаю, я в кино это видела. Дети, обнимите маму, давайте прощаться. Петя, скажи, ты меня любил, или мне это только казалось. Хорошо, не говори, скажешь мне это на том свете. Истерический крик Фиры, наверное, услышали в Рейхстаге:

– Чтобы вы сдохли, немцы проклятые. И чтобы вам было за нас. И чтобы ваш Гитлер подавился...

Полицейский, услышав знакомое имя Гитлер, вытянулся в струночку, приподнялся на цыпочки, ещё секунду, и он бы закричал – хайль..., но собака дёрнула поводок, пытаясь укунить Фи́ру за ногу. Полицейский пришёл в себя и медленно попросил:

– Паспорт, zeigen sie bitte ihren Ausweis.

Взяв в руку красный паспорт и увидев знакомые буквы СССР, полицейский культурно спросил:

– Ihr seit Juden? Ви еврей? Русский еврей?

Слово Juden оглушило Фи́ру, и она вспомнила бабушку, которая рассказывала, как фашисты издевались над евреями, и поняла: сейчас начнётся... Но бабушка не работала продавцом на Привозе, а Фи́ра работала и знала – лучшая защита – это нападение. Она со всей силой толкнула полицейского и сорвала с него автомат. Собака завизжала и бросилась наутёк. Направив автомат на лежащего полицейского, Фи́ру понесло:

– Нет, мы китайцы! Ты что, не видишь – мы китайцы! Это мой муж Пуя, я его жена Фуй, а это дети, Суй и Муй. Ферштейн?

Полицейский кивнул и попросил обратно автомат. Китайцы помогли ему подняться, и Фи́ра вернула оружие. А тут и собака вернулась. Она бросилась на Пуя и стала его облизывать. Петя был немного перепуган, но видя улыбающегося полицейского, успокоился.

Потом... потом начался знаменитый путь эмигранта: от комнаты, где сдают анализы мочи и других удобрений, до печати в синем паспорте: годен для проживания в Германии.

Потом, квартира. Дети в школу, Петя на работу, Фира по магазинам и первое исполнение мечты эмигранта – покупка ржавенького Мерседеса.

В общем, началась нормальная жизнь. Что дальше? А дальше, как у всех. Вы же лучше меня знаете, каждый должен съесть свою порцию удобрений. А потом можно и в Америку переезжать.

Я вот разговариваю с вами и чувствую, как вы пытаетесь меня спросить, а что стало с полицейским, который встретил наших знакомых у ворот лагеря? Ведь правда?

Да ничего с ним не стало. Немец, как немец. Ему бы пива на завтрак и пива на обед. И всё. И он счастлив. Правда, от нечего делать, он помог новым друзьям получить хорошую квартиру. А Петю устроил на работу. Потом одолжил немного денег на ржавенький Мерседес. Его дочка Сара подружилась с Сашей, это тот маленький китаец Суй. А жена Хайка – лучшая подруга Фиры.

Вот и вся история. В неё трудно поверить? А вы не верьте. От этого она правдивее не станет. Человеку всегда трудно поверить в то, что он не видит сам. А поверить кому-то на слово... Ну, это вообще.

ТЫ НЕ СИРОТА

Что такое сирота маленький Боря не знал. Когда умер папа, ему было шесть лет. А сейчас, когда умерла мама, ему исполнилось восемь. Стоя у маминой могилы, он с интересом наблюдал, как дядя Сима, который работал в синагоге, что-то пел маме, которая лежала в деревянном ящике.

Стоящие вокруг дяди Симы мужчины всё время говорили аминь и дёрпали свои бородки. И Боря с трудом сдерживался, что бы не засмеяться.

Женщины, одетые в чёрные платья, вытирали слёзы и смотрели на Бэрэлэ с жалостью. Обрывки слов долетали до него:

– Бедный ингеле! А несчастный ребенок. И что он будет делать один на белом свете? Ой-ой, ой-ой.

– А как же он теперь будет один жить в таком большом доме? Конечно, они умерли, и им теперь легче, у них голова не болит за сына. А он стоит и смеётся. Хороший мальчик. А умный.

– И что вы говорите, мадам Рыся, какой дом? Развалюха, а не дом. А мальчик азаюр ауф унс.

А гитер ингеле.

– Цурес, у мальчика, цурес, а вы разговариваете. Лучше скажите, что он будет делать после похорон. Куда ему деваться? Кто ему кушать даст? Вы? Я? Или хромой мишигенер Мойша? То-то!

Только теперь Боря вспомнил, что с утра ничего не ел. Он посмотрел на тётю Рысю и улыбнулся.

– Рыся, смотри, он тебе улыбается. Ты же его дальняя родственница. Он чувствует это. Кровь не обманешь.

– Шейндл, ты что, специально меня нервничаешь? Я ему тётя, как ты ему дядя. Можно подумать, раз мой двоюродный брат Изя женат на четвероюродной племяннице Бориной мамы, так мы родственники. И что ты придумала Шейндл?

Дядя Сима сказал громко аминь, мужчины повторили, женщины сразу громко заговорили и похороны закончились. Все стали расходиться. Рыся, подошла к Боре:

– Ну, и долго ты будешь так стоять?

Боря опустил голову и две слезинки появились на его красивых чёрных глазках. Он всхлипнул:

– Я кушать хочу. А мамы нет.

Он подошёл к Рысе, обнял её, вернее обнял то, что могли обнять его ручки и, уткнувшись носом в юбку, зарыдал.

– Идём, горе ты моё, идём. Идём! Ты же мне родственник, как-никак. Потом посмотрим, что делать дальше.

Боря остался у Рыси. Муж Рыси, Аркаша, ничего не сказал. Он вообще никогда в присутствии жены не говорил. Поэтому они жили, как голубь и голубка.

Но оказалось, что у Бори в местечке было ещё несколько родственников. Это был сапожник Сруль и его жена Малка. Портной Фима и его жена Дойбе. Плотник Руслан и его жена Фира. И называвший себя раввином мясник Абрам и его жена Хова. Абрам знал несколько молитв наизусть, умел читать Тору, но ничего не понимал, и самое главное Абрам делал в местечке мальчикам обрезание. И как он сам говорил:

– Ну, и что ещё нужно делать, чтобы быть раввином? Вам этого мало? Тогда будете сами себя обрезать.

И местечко единогласно признало его раввином. Молились у Абрама дома. И после молитв ели тоже у Абрама дома. Абрам был не богатый, но и не бедный. Единственное, чего у него не было так это наследника сына. Дочки были. Аж, целых четыре. Хорошие девочки. Красивые, как мама и умные, как папа.

И тут такое счастье – Боря. Мальчик был сыном троюродной сестры Абрама, которая была жената на Борином папе, который по маминой линии Абрама был ему двоюродным племянником. В местечке это счи-

талось очень близким родством. И Абрам имел на Борю все права. По крайней мере, ему так казалось. Но то, что Боря будет мясником, ему не казалось. Это было, как наяву.

Но, сапожник Сруль был женат на Малке, а Малка была тётёй Бориной бабушки Ханы. А Хана была замужем за Лёней, который никому родственником не был. Поэтому он умер молодым.

И Сруль сказал:– И ничего мне не говорите! Боря мой родственник. И я забираю его к себе. Он вырастет и будет сапожником.

Но, плотник Руслан был против. Он заявил всему местечку, что его жена Фира приходится кузиной бабушки Ханы. А значит, Боря придется ей или дедушкой или дядей. Это нужно ещё выяснить. Но то, что Боря будет плотником, выяснять не надо. Это решено!

Местечко зажило новой жизнью. Вечерами люди собирались по домам и спорили до хрипоты, кому и как приходится родственником Боря. Оказалось, что половина местечка имело на него права.

Все хотели Борю. Боря был нарасхват. Но... никто не знал, как поделить мальчика.

Был вызван знаменитый на три местечка старый, бородатый раввин Шома Цукерман.

Его тотчас же усадили за стол, так как он всё время твердил:

– Цу ерс эсен, дан рэден. Я устал и вообще, что вы от меня хотите?

Но ему ответили: сначала нужно решить проблему, поговорить, потом кушать.

Когда он с трудом, так все кричали, понял, что от него хотят, ответил:

– Ша! Дус ист а не совсем простое дело. Тут подумать надо.

Думал он долго. Потом встал и показал рукой на стенку. Все посмотрели на стенку. Потом он показал пальцем на потолок. Все посмотрели на потолок. Потом он почесал голову, открыл рот. Все тоже открыли рты. Но Шома Цукерман ничего не сказал. Начался геволт. Кричали, что Шома сошёл с ума. Что он старый, и ничего не соображает и нужно позвать другого раввина.

Но Шома всё время думал, думал, и придумал:

– Ну? Это я сошёл с ума? Это я ничего не понимаю? Тогда слушайте: Боря будет жить у всех родственников по очереди. Один месяц у Абрама, другой у Сруля и так далее...

С раввином спорить никто не хотел, так как уже было поздно, все согласились и сели ужинать.

А Боря сидел под столом, ел сладкую булочку, и никак не мог понять, как же он будет жить дальше.

А дальше было очень просто. Каждый месяц у Бори появлялись новые

родители. Он был хороший мальчик и его любили. Боря рос и учился. Он мог читать, писать, делать гробы, рубить мясо, шить брюки, и знал наизусть весь молитвенник. Ему прочили большое будущее, но началась война.

Боре исполнилось восемнадцать лет, и его забрали на войну. Когда он вернулся в местечко, там никого, кроме сумасшедшего Мойши, не было. Мойша узнал Борю и расплакался. Потом взял его за руку и повёл в небольшую рощу на окраине местечка. Боря увидел... нет, он ничего не увидел. На войне он узнал, что делали немцы с евреями и сразу понял, больше родственников у него нет. Кроме Мойши.

А Мойша встал на колени и потянул за собой Борю. Потом они вместе произнесли имена всех родственников:

– Папа Сруль и мама Малка. Папа Абрам и мама Хова. Папа Руслан и мама Фира. Папа Аркаша и мама Рыся...

Недавно я побывал в Израиле в городе Тель-Авиве, и мне рассказали историю об одном раввине Боре Цукермане, который знает всю Тору наизусть. Или почти, но если надо, он может сшить новые брюки, починить обувь, кошерно зарезать курочку, сколотить гроб и пострелять из автомата.

НИ ХРЕНА СЕБЕ!!!

Изя Цицкис приехал в Германию, и его счастью не было предела.

Каждый день Изя писал письма на Родину в город Засранск: «улица Ленина, 5, Горисполком, товарищу Какману А. Х.» В письмах он сообщал товарищу Какману А. Х., что горячая вода в общежитии для перемещённых лиц течёт днём и ночью, и что сливной бачок сливает в унитаз чистую воду, а также, что он видел в гробу этот Засранск вместе с долбаным горисполкомом и лично товарищем Какманом, причём, всех в белых тапочках.

Товарищ Какман, читая эти письма на собрании личного состава горисполкома, ругал товарища Цицкиса и говорил: «Вот, вырастили змеюку на груди, образование ей дали, и всё такое, а она нам антисоветские письма шлёт. Предлагаю выразить бывшему товарищу, а сегодня господину Изе Цицкису наше несогласие с его словами и записать ему выговор в личное дело».

А на самом деле письма, посылаемые Изей Какману, были зашифрованы. Цицкис и Какман были друзья с детства, и это несмотря на то, что у Изи в семье все были евреи, а у Какмана только папа Какман.

Изя договорился с Какманом переписываться засекречено, чтобы

никто ничего не понял. «Мало ли что», – сказал Изя, и посмотрел в сторону Горисполкома.

Прочитав первое письмо в туалете местного кафе «Чай на троих», Какман тихо сел на унитаз, закрыл глаза и глубоко задумался. В шифровке Изя сообщал, что солнце в Германии почти такое же, как в Засранске. Это означало: мне всё это начинает надоедать. Может быть, пора брать ноги в руки и делать валенки? Работы нет. Немецкий язык оказался трудным и он, Изя, не понимает, как товарищ Штирлиц общался с гадом Мюллером и немцы не догадались, что Штирлиц русский разведчик. А его узнают за русского, как только он произносит: «a guten Tag!».

В следующем письме Изя сообщал, что недавно, в магазине «Netto» он был удивлён новым сортом сыра «Рокфор». В сыре оказалось больше плесени, чем человек может съесть.

Какман перевёл письмо так:

– Друг мой любимый Арон Какман, если бы ты знал, как я скучаю за нашим городом Засранском. Мне снится наша речка Муть и гидроэлектростанция имени Клары Цеткин.

Через две недели Изя получил письмо от Какмана. Тот писал:

«Дорогой Изя! У нас всё хорошо, чего и тебе желаем. Тётя Буса уехала в Израиль. Туда ей и дорога. Дядя Фромка вернулся из Америки в Засранск и открыл бизнес. Теперь он имеет своё дело. Он торгует семечками на базаре. Но это прикрытие. На самом деле он меняет доллары на рубли. А рубли на гривны. Говорит, что гривна когда-то загремит. Он счастлив. А я нет. У меня нет ни долларов, ни гривен. И ещё. «Скоро мы увидимся.»

Изя перевёл письмо так:

«Сиди и не рыпайся. У нас кризис. Делов нет. Семечки кончаются, гривна нужна только в Африке, скоро жрать будет нечего. У меня к тебе есть дело... Жди. Никому ни слова. Выезжаю.»

Прямо с вокзала Изя привёз друга в свою однокомнатную квартиру. Показал цветной телевизор, микровелю, телефон, туалет и большой портрет бородатого раввина.

На вопрос, кто это, Изя удивлённо посмотрел на друга:

– И ты не знаешь кто это? Это раввин. Батюшка по-вашему. Он всё знает. Не то что мы с тобой.

– А я думал Карл Маркс, – сказал Какман.

После сытного ужина и бутылки водки Какман рассказал Изе о цели своего приезда.

– Понимаешь, недавно я купил на базаре книгу. Называется она «Всё, что не забыл – помню». Автор немец Адольф Шимкельгухес или Тухесшимкель, я уже не помню. Так он пишет, что его дедушка во время вой-

ны закопал семейные драгоценности в лесу недалеко от города Капут, это рядом с Потсдамом, где ты сейчас и проживаешь. Клад зарыт возле маленькой кирхи. Ну, что скажешь?

– Начнём завтра. Купим лопаты и начнём сразу копать. Я им покажу Сталинград. Перекопаю весь город к чёртовой матери и дойду до Эльбы. Я им не забуду бабушку Розу и дедушку Мотю. Я им всё вспомню. Пошли спать.

Утром, купив лопаты, друзья стали искать кирху. Оказалось, что их в Капите восемь. Кинув жребий, с какой начать, друзья начали копать прямо в центре, у кирхи Святого Петра. На стук лопат и русского мата выбежал служка:

– Was ist los? Was macht ihr? O, mein Gott!

– Guten Tag, батюшка! Verstehen, в общем газ ist weg, wir arbeiten. Wir копаем. А то, как бах, бах и alles kaputt!

Слова газ и капут служка понял сразу и, сказав: «Gut, Gut dawei rabot-ei», убежал молиться.

Перекопав всё, что копалось, и ничего не найдя, друзья перебрались в другой район. Кирхе Святая Мария было четыреста пятнадцать лет. Кирха на своём веку перевидала всё. Но такого она ещё не видела. Два человека с двумя лопатами вгрызались в землю, как два экскаватора. Горы перерытой земли были видны издалика. На лестнице, ведущей в кирху, стоял пастор и вся братия. Они молча наблюдали за Какманом и Изей. Раз копают, значит, так надо, решили слуги Бога. В Германии ничего просто так не делают и не копают. А раз копают, значит, на это есть разрешение.

Прошло три дня. Усталые искатели сидели в комнате и строили планы. Изя сказал:

– Если мы найдём клад, поделим поровну. Я вернусь в наш город и построю дом. Буду жить, как в раю.

– А я, – сказал Какман, – улечу на Майями. Куплю яхту, женюсь на негритянке и буду плевать в потолок.

Когда друзья вонзили лопаты в землю возле кирхи Святая троица, подъехала полиция. Посмотрев, как Изя и Какман копают, полицейские дали пару советов и, даже самолично копнув несколько раз, уехали во-сво-яси.

Наступил шестой день, пятница. Канун шабата. На этот раз решили попытать счастье у синагоги. На звук лопат выбежал раввин Шая Курочкин. Потеребив кучую бородёнку и почесав макушку, решительно сказал: «Евреи! Не знаю, что вы ищите, но всё что найдете – пополам!» Торопливо пробормотал молитву и испарился.

Изя погрузил лопату в немецкую землю и... раздался странный ме-

таллический звук. Изя упал на колени и руками стал разгребать землю. Рядом примостился Какман.

Сначала раздался вопль Какмана: «а-а-а-а-а-а!!!» Потом истерически закричал Изя: «О-о-о-о-о-о о!!! Ни хрена себе!!!» И они оба вылетели из ямы. На вопли стали собираться люди. Испарившийся Шая Курочкин снова выбежал на улицу и подбежал к яме. Заглянув в неё, он жутко закричал: «Геволт!!!» – потерял сознание и упал в яму на большую ржавую бомбу. Приехали полицейские и минёры, окружили синагогу, эвакуировали город Капут в другой город, вытащили раввина Курочкина и бомбу. Очистив её от земли, они увидели грозную надпись – «За Сталина! За победу! Старшина Иосиф Какман».

Бомбу взорвали за городом, и наступила тишина.

Сидя дома, Изя и Какман, молча, отмечали шабат. Выпили бутылку водки. Съели макароны с куриным мясом и уставились в телевизор. Перед цветным экраном Изя прощался с недостроенным домиком в Засранске. А Какман думал, что так никогда и не плюнет в потолок своего дома в Майями.

Утром к ним приехала полиция и увезла в мэрию города. По-русски в горисполком. Там им долго пожимали руки, и наградили ценными подарками. Изе вручили часы фирмы «Orient» без ремешка, а Какману браслет к тем же часам.

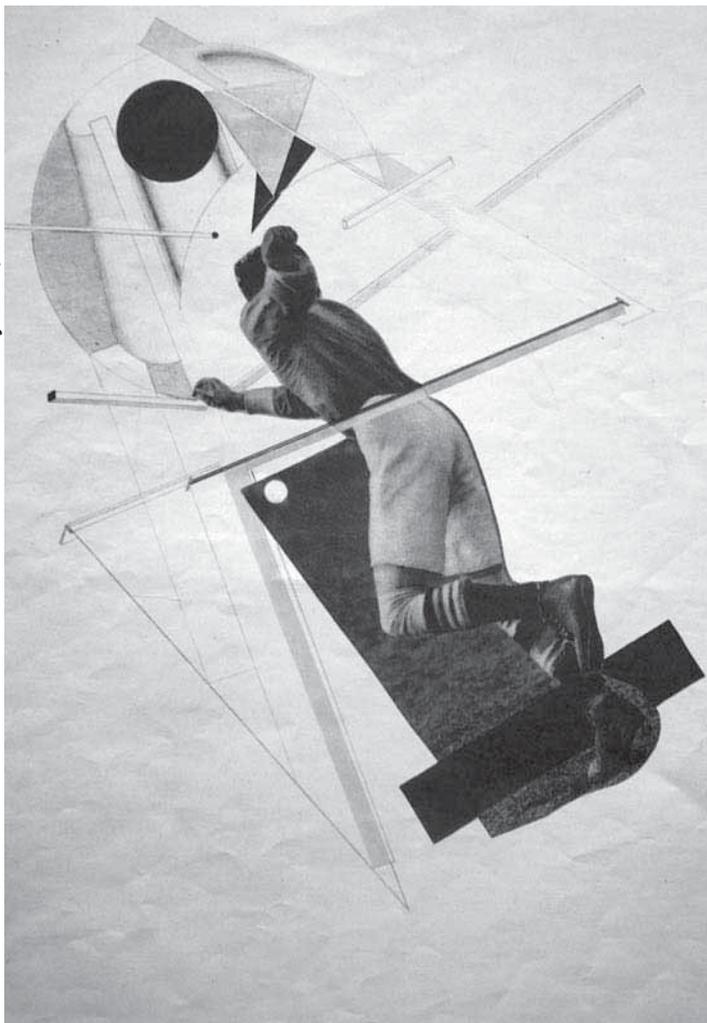
Какмана мучил вопрос: кто такой Иосиф Какман? Если это его дед, то могут быть неприятности. А если однофамилец, то... И он решил на отважный поступок. Он опять приехал в мэрию города Капут. Там долго объяснял, что хочет остаться в Германии и перекопать её от Одера и до Эльбы в поисках бомб и снарядов, так как чувствует в этом необходимость для налаживания дружеских отношений между двумя народами. Но какими – не сказал. Его оставили. Вдобавок к браслету он получил ещё и право на проживание в Германии. Только попросили больше не копать. Он дал честное слово.

Прошло время. В городе Капут никто ничего не копал.

Зато недалеко от Потсдама появилась гора металлолома. Шрот украшал танк «Т-34» с вывеской на ржавой броне: «Kakmann & Isja» – «Shrot Paradies». Вот так друзья из Засранска откопали клад Адольфа Шимкельгухеса.

Пять лет спустя Изя вернулся в Засранск. А Какман?.. Арон Какман наконец-то плюнул на потолок собственного дома в шикарном городе Майями.

Публицистика и эссеистика



До и После

ЛЮДМИЛА БЕЛОУСОВА

О БЕДНОМ ЗРИТЕЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО!

Я – Зритель.

Нормальный Среднестатистический Зритель.

Человек я среднеобразованный. Книги читаю. Разные: и Дэна Брауна и «Гарри Потера», но не думайте, что этим ограничиваются мои интересы, я и классику в свое время осилил. Может быть, Шекспира и Шиллера в подлиннике не читал, но кто они – знаю. Круг интересов – обширный: (похоже на брачное объявление, правда) Но, тем не менее: читаю, путешествую, и в музеи хожу, и в кино, и телевизор смотрю.

Да, отличительная черта – я люблю оперу. И не просто теоретически, я люблю оперу активно. Я хожу в театр. Но я не встаю в позу – смотрите, какой я особенный – имя нам, любителям оперы, легион.

Естественно, я знаю разницу между кантиленой и каватиной, и мажор от минора отличаю. То есть, я нормальный человек, в меру образованный, в меру начитанный, повидавший, хоть немного, мир. Только не надо переворачивать мои слова и превращать меня в усредненную серость.

В оперу приходят люди разные. Раньше их можно было условно поделить на профессионалов (музыкантов, искусствоведов, студентов муз. училищ и консерваторий) и обычного зрителя, любящего оперу, музыку, театр. Такого, как я. И такой зритель составляет львиную долю от посетителей оперы.

Но в наше время выделился еще один тип зрителя – любители «клубнички». Те самые, которые вопят от восторга на самых скандальных премьерах, когда для поклонов на сцену выходят Скандал и Сенсация.

Опера – искусство условное – мы знаем с детства. Даже если молодой солдат Хозе выглядит, как генерал в отставке, мы киваем, главное, чтобы голос у тенора звучал молодо. И дамы-травести, т.е., играющие мужские роли, не удивляют. Даже к контртенорам, мужчинам, поющим женскими голосами, мы привыкли.

Ах, опера, опера! Где еще так любят, ревнуют, ненавидят?

Композитор музыкой рисует драму человеческого сердца. Страсти и эмоции. И мы идем в оперу, потому что это *наши* чувства, которые мы не умеем (не всегда умеем) выразить.

На взгляд простого зрителя в опере главное – музыка и певцы. Но нынче на первый план упорно пробивается режиссер, заслонив дирижера, и едва ли не солистов.

А режиссер пошел «крутой». Один старается переплюнуть другого и не отстать от моды.

Мода. Теперь это по заграничному называется МЕЙНСТРИМ (*от английского слова Mainstream – основное течение, направление*)

Или даже глубже: режиссерский мейнстрим. И главное для режиссера не опростоволоситься, не отстать от этой самой моды. Ой, простите, мейнстрима.

И движется он (Мейнстрим) широкими полосами, захватывая 90% театров.

Вдруг со сцены повалили клубы дыма. Певцы глотали антиаллергические лекарства, моргали воспаленными глазами, публика до десятого ряда натужно кашляла. Все тонуло в тумане.

Или: одно время на сцене царила грязь. В любом ее выражении: разорванные бумаги, скомканные газеты, драные панцирные кроватные сетки, засиженные мухами липучки. Прошло.

А вот мода на SEXY не проходит. То певицы появляются, то с одной обнаженной грудью, то аж с двумя. То весь наличный ансамбль выскакивает на сцену, как на нуддийский пляж. То певцов начинают публично на сцене переодевать – из одного костюма до трусов (хорошо хоть трусы оставили) – и в другой костюм. Но, как правило, оперный певец весьма отличается от супер модели. И раздевальное зрелище, доложу я вам, мало эстетичное.

Или вдруг исчезли декорации. Осталась голая сцена. Думаете, легко творить на голой сцене? Режиссеры усиленно борются с певцами, – кто кого победит. Увы, режиссеры. И бедные певцы покоряются. То им приказывают стоять с застывшей миной на лице, то вдруг требуют во время сложнейших арий находиться «в действии». Их заставляют ползать по полу, качаться на качелях, делать отжимания, рвать что-нибудь на мелкие кусочки. Все что угодно, лишь бы не дать зрителю сосредоточиться на музыке. Но борьба с певцом режиссерам уже наскучила. Они вступили в конфликт с композитором, с музыкой. Все чаще мне кажется, что я смотрю пародии. Вспоминается Остап Бендер и спектакль в театре «Колумб». Одним словом «Хочу Подколесина!» А может это действительно пародии? Яго публично мочится у портала. Не отстаёт от него Герцог Мантуанский, тоже спутавший подмостки с туалетом. Белокожая блон-

динка Аида (эфиопская, кстати говоря, принцесса) объясняется с Радамесом между мусорных мешков и пустых пивных ящиков. Мадам Баттерфляй в борделе для секс-туристов. Эскамильо в боксерских трусах. Если пародии, то на что?

Рижский театр поместил действие балета «Золушка» в бордель. К счастью, Фонд Прокофьева запретил постановку. Потому как, во всем мире существует договоренность, что в течение 75 лет после смерти композитора нельзя ничего делать с его произведениями без согласия наследников. А кто защитит давно умерших композиторов? Кто вступится за Верди и Чайковского?

Режиссеры – мейнстримщики предали забвению саму мысль, что смысл работы театра и режиссера – раскрыть замысел композитора, понять внутреннюю жизнь персонажа, личности, что режиссер должен помочь певцу выразить это в действии.

Нет, они стремятся выразить только СЕБЯ. И чем оригинальнее (читай – чуднее), тем лучше.

Иначе, о, ужас, режиссера могут упрекнуть в старомодности, обвинить в отсутствии собственного видения и оригинальных идей.

Пожалуй, вот тут и зарыта собака – режиссер в первую очередь стремится блеснуть своими собственными идеями. Главная цель, что бы они были оригинальнее. Других переплюнуть и не отстать от моды.

Говорить о беспределе на оперной сцене можно много и долго. Закрадывается мысль, может это происки врага, чтобы отвадить от «умирающего, устаревшего» жанра последних зрителей? Но что за враг?

Последнее время наблюдался бум с «Онегиным». Возможно, в связи с юбилеем Пушкина.

Чем «Онегин» так обидел режиссеров, что они на него дружно ополчились?

Бедный Пушкин.

Бедный Чайковский.

Бедный зритель.

Тут уж, как говорилось в старом фильме «за Державу обидно»

Говорят, Вишневская после премьеры «Онегина» в Большом зарекалась ходить в театр, где подобное возможно. И назвала действие на сцене «ужасом и бесстыдством»

Режиссерам кажется совсем необязательным раскрыть идею композитора. Они старательно «читают между строк».

И вычитывают занятные вещи.

Режиссер Варликовский, например, поляк, и знаток загадочной русской души, наконец-то открыл нам глаза на тайны Онегина. Любовь была, оказывается, между Онегиным и Ленским. И дуэль вышла из-за

ревности. Только приревновал Ленский не Ольгу к Онегину, а коварного любовника Евгения к младшей Лариной. Зачем он тогда упрекает девицу в легкомыслии? Когда Евгений при этом объяснении целует его в засос?

И роковая дуэль происходит на двуспальной кровати. Бывшие друзья долго снимают пиджаки и рубашки. Ленский тянется к другу (от любви-с. В порыве страсти). После выстрела Онегин долго взирает на тело убитого друга. И вокруг него танцуют наполовину оголенные ковбои.

Стоп!

«Онегина» мы все в школе «проходили», оперу с детства слышали и целиком, и в ариях. Но, может, мы все не в ногу шагаем? Я, зритель, уже сам себе не верю. Не поленюсь – еще раз, медленно, проштудирую весь роман.

Ну, ни намек на гейскую любовь!

Режиссер кивает на композитора: мол, Петр Ильич был гомосексуалистом. Допустим. Но опера-то о ком?

Сочините оперу о Чайковском и изощряйтесь, как хотите.

А другому режиссеру, (Тителю из МАМТ) похоже, не дают покоя чужие находки. Мол, в Большом Театре и лошади по сцене гуляли, и тигра в клетке появлялась. До тигры Режиссер не дотянул, успокоился на собачке. Помните, у Пушкина: «...вот бегают дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив...»

Действительно, бегают и бойко катают Жучку по сцене. К опере отношения не имеет, но, как пишут журналисты: «оживление в зале».

А в Египте, между прочим, и слоны в «Аиде» маршировали. А? Как насчет слонов?

Со слонами не вышло, зато Ленского вымели со сцены швабрами. Буквально. Большими такими швабрами. Круто? А?

Ну, в Большом Режиссер Черняков сумел обойтись без животных. Вообще декорациями не злоупотреблял, обошелся одним столом. Бо-ольшим. Очень большим. Вокруг него все бегают, крутятся, на нем сидят, лежат. И Татьяна письмо свое пишет, и Ленского на нем пристреливают. Из ружья. И никакой дуэли.

Откуда режиссеры - новаторы черпают свои идеи, одному богу известно.

Бывало, постановочная работа начиналась с «застольного периода» – не придирайтесь к слову, не обязательно сидеть за столом. Но пьеса обсуждается на все лады, каждому персонажу придумывается подробная биография, личная судьба. Изучается первоисточник. В оперном варианте – изучается музыкальный материал. Какие эмоции и страсти композитор вложил в музыку. Вот тут уж режиссеру нужно потрудиться

над самым главным – проникновением в оперную партитуру. Для этого надо быть большим музыкантом, иметь настоящее музыкальное образование, связанное не только со знанием музыкальных технологий, но и с законами театра.

И у меня, простого зрителя, рождается крамольная мысль: а они, режиссеры, в ноты заглядывали? Или они читают между нот, раз ноты читать не умеют? Или они инсценируют свои собственные страшные сны?

Я, бедный зритель, многого не понимаю: почему Татьяна разгуливает нечесаная и, похоже, немая? Почему Ленский поет за Трике? И при этом ведет себя как пациент Кашенко? Почему Ольга – злющая, агрессивная и люто ненавидит сестру? Почему Ленский поет «Куда, куда вы удалились» а рядом с ним сидит странная дама, которая заходится в слезах? Почему мамаша Ларина хлещет рюмку за рюмкой. Истерически, то хохочет, то рыдает? Почему, почему, почему?.. Что бы это значило?

Но, заметьте, мы говорим об Опере, а всем известно, что в опере композитор может акценты переместить. Хрестоматийный пример: героиня «Пиковой дамы» Пушкина в опере значительно изменилась, облагородилась и получилась уже другая история. Кармен Бизе весьма отличается от Кармен Мериме.

Поэтому не поленимся и заглянем в партитуру. Клянусь, нет там такого.

То, что представлено на сцене, является не конфликтом между персонажами, или даже режиссера с исполнителями, это конфликт режиссера с музыкой.

Предлагаю: давайте на короткое время закроем уши, и поплотнее. И посмотрим на сцену.

А, что? Здорово! Интересные задумки, очень оригинальные. Свежие идеи.

Теперь, господа режиссеры, напишите сценарий к своим идеям. А к сценарию – музыку. И мы будем вам искренно аплодировать.

Причем здесь Чайковский и Пушкин? Что плохого сделала вам «Кармен»? Чем провинился «Борис Годунов»? Что вы имеете против «Манон»? Почему вы так беспардонны? Глаза закрыть хочется. Тогда зачем ходить в театр? Проще дома поставить хорошую запись с первоклассными исполнителями.

А зачем мы вообще ходим в оперу? Зачем снова и снова слушаем знакомую музыку?

Да нам переживать хочется. Сейчас, сию минуту. Ведь каждый певец-актер поет и переживает по-своему. Каждый оркестр играет по-другому. И мы хотим сию минуту сопереживать вместе с ним.

Но меня, простого зрителя, в данный момент заботит и другой вопрос. Помните, раньше были худ. советы, приемные комиссии? Нынче контроля нет, полная свобода и демократия.

Ну, уж такая ли полная свобода? Есть законы, запрещающие пропаганду насилия, вражды. Запрещена детская порнография. Запрещено продавать подросткам табак, алкогольные напитки и компьютерные игры с супер жестокостью и насилием.

Даже в кинематографе есть границы. Например, чтобы фильм «Основной инстинкт» не посчитали порнографическим, режиссеру пришлось вырезать что-то около семнадцати эротических сцен.

Выходит есть правила и законы?

Почему же никто не вступится за классику? Умершие композиторы уже сто раз в гробу перевернулись от ужаса.

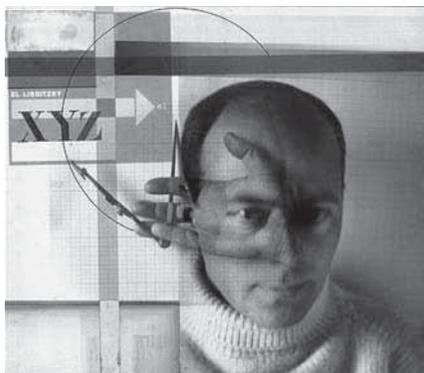
Или мне, зрителю, остается уповать на переменчивость моды?

Мол, любая мода скоротечна, пройдет и эта.

И наступит мода на красоту. На красоту человеческих чувств и средства их выражения.

Но неужели «... жить в это время прекрасное, уж не придется ни мне, ни тебе»?

Эссе навеяно последними постановками оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Большом Театре Москва (режиссер Черняков), в Московском Музыкальном Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (режиссер Титель), в Баварской государственной Опере (режиссер Варликовский). А также другими оперными спектаклями в Нюрнберге, Дессау, Ганновере, Берлине.



ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

ЭЛЬ ЛИСИЦКИЙ

(заметки о художнике)

Первая треть двадцатого столетия отмечена необыкновенным явлением, известным в мировом искусстве как Великий Русский Авангард.

Думается, что толчком к созданию новых форм, изобретательности в применении геометрических плоскостей, утверждению превосходства (отсюда и термин – «супрематизм») над старой живописью, явился отказ от иллюстративности, повествовательности. Ко всему этому призывал зачинатель этого стиля К. С. Малевич, который в 1918 году на выставке в Петрограде показал тридцать девять «беспредметных» произведений. Среди них и ставший потом знаменитым простой четырёхугольник – «Чёрный квадрат на белом фоне».

Затем Малевич выпустил брошюру «От кубизма к футуризму и супрематизму».

В ней он объяснил концепцию своего творчества, мотивы и эволюцию именно простых геометрических форм, как нового пластического языка, не имеющего ничего общего с реалиями привычного мира. Вырываясь в новое пространство, освобождаешься от сюжетности, конкретности подчинения ранее существующим канонам, «зажатости» композиции и ограниченности цветового решения.

Вскоре, во многих странах Европы и Америки стали появляться последователи, развивающие и углубляющие методы Малевича. На протяжении

более, чем двадцати лет, они занимали ведущие места в изобразительном искусстве, архитектуре, в так называемом «свободном полёте форм».

Одно из ведущих мест, в России, наряду с В.Татлиным, А.Родченко, И. Пуни, И. Клюном, И. Чашником и другими, по праву принадлежит художнику Эль Лисицкому.

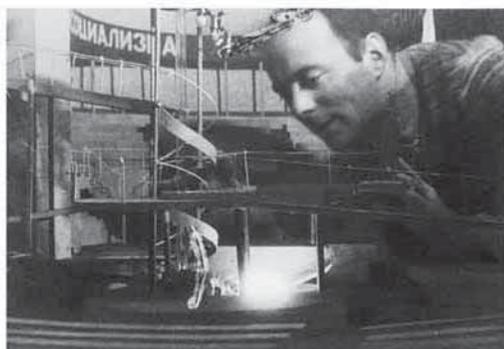
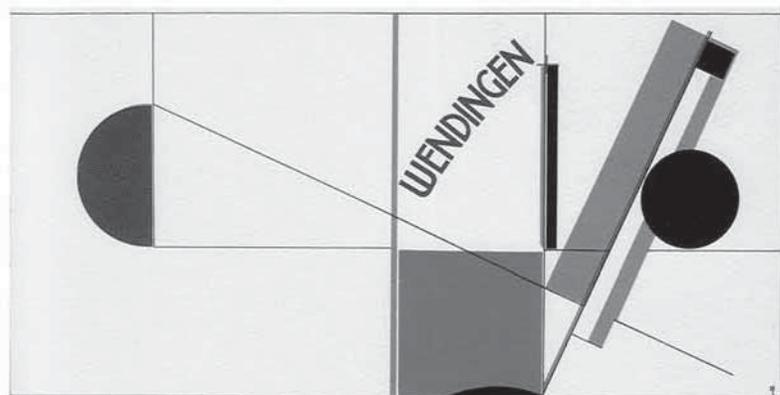
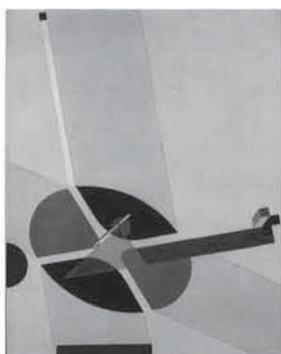
На протяжении всей своей недолгой жизни, с учётом того, что он подолгу болел и был оторван от творчества, Лиси, (так его называли родные и друзья) сумел заявить о себе, как о незаурядном архитекторе, книжном иллюстраторе, дизайнере, фотографe, создателе новых форм и воплощённых идей во многих отраслях искусства. Хотелось бы вкратце остановиться на некоторых фактах биографии Мастера, которые сыграли важную роль в его мировосприятии и создали благоприятную основу для формирования и достижения того уровня его творчества, который привлёк внимание и утвердил его значение в масштабах мирового искусства.

Лазарь Маркович Лисицкий (псевдоним Эль Лисицкий) родился на станции Починок под Смоленском, 10 ноября 1890 года, в семье мелкого ремесленника Мордехая-Марка и его супруги Сарры Лейбовны, людей далёких от искусства и не предполагавших профессию сына. Так получилось, что ещё учась в Смоленском реальном училище мальчик увлёкся рисованием, и всё своё свободное время посвящал этому занятию. С 1903 года он начал посещать в Витебске, куда переехала его семья, мастерскую художника Иегуды Пэна, где приобрёл первые профессиональные навыки в живописном мастерстве и рисунке. Здесь же, произошло знакомство его со многими, в дальнейшем, крупными мастерами такими как С. Юдовин, Д. Якерсон, М. Шагал и другими. Первое большое влияние он ощутил также при рассматривании, копировании и изучении больших иллюстрированных журналов, выходящих тогда в России – «Золотое руно», «Весы» «Мир искусства». Он предпринял попытку поступления в Петербургскую Академию художеств, но при отсутствии опыта и незнании академических канонов, увы, попытка не было успешной, и Лисицкого не зачислили в Академию. В 1909 году он уехал в Германию и поступил в Высшую техническую школу в городе Дармштадте. Собственно, тогда эта школа была основным центром художественно-промышленного движения авангарда. Здесь издавался главный журнал модернистов «Deutsche Kunst und Dekorationen», пропагандирующий новые формы в орнаменте, синтез изобразительного искусства с архитектурой и промышленностью, новые предложения в дизайне. Возглавлял училище знаменитый тогда мастер модерна, оказавший большое влияние на развитие европейского искусства начала XX века, Иозеф Ольбрих. Советами и наставлениями его Лисицкий пользовался



В творчестве Лисицкого привлекает своеобразная демократичность. Художник ничего не доказывал, не убеждал и не ставил точек. Он лишь предлагал идеи, намечал возможные траектории их будущего развития и надеялся, что когда-нибудь его проекты обретут реальные формы. Так и произошло. Произведения Лисицкого – повод для бесчисленных размышлений и экспериментов, отправная точка движения в бесконечность.





много лет. Он тогда регулярно писал маслом, акварелью и выполнил ряд ксилографий, которые выставлял на ежегодных выставках в Дармштадте.

В 1912 году Лисицкий приехал в Париж, где на многочисленных выставках он встретился с некоторыми знакомыми художниками из России. В том числе со своим другом по Витебску – скульптором Осипом Цадкиным. Тогда же, в Петербурге, на выставке «Художественно-артистической ассоциации» были показаны два его живописных портрета.

В 1913 году он совершил пешеходную прогулку по всей Италии. Изучал фрески и мозаики, делал альбомные зарисовки с картин мастеров доренессансного периода, живописи кватроченто, мастеров архитектурного пейзажа. Возвратившись в Европу, он утратил интерес ко всему увиденному в Италии, ибо его захлестнуло увлечение модернистской графикой и примитивом.

В 1914 году он окончил школу в Дармштадте и возвратился в Россию. Лисицкий поступил на архитектурный факультет Рижского политеха, переехавшего в Москву.

Здесь пришло активное увлечение графикой, его работы стали появляться на выставках «Мира искусства».

Затем пошёл целый ряд графических циклов. Наиболее интересными представляются иллюстрации к еврейской народной сказке «Козочка» (Киев. 1919). Иллюстрации наполнены юмором еврейского местечка, бытом и интерьерными, хорошо знакомыми автору (см. обложку Альманаха). Однако и здесь художник одержим приёмами модернистской интерпретации, и явно находится под обаянием работ Марка Шагала, Давида Якерсона, Н. Альтмана и других.

Некоторое время, поработав в Киеве, где участвовал в выставках «Еврейской культурной лиги», он вскоре по предложению М. Шагала переезжает в Витебск, где руководит Архитектурным факультетом и мастерской печатного дела в художественной школе. Работая с учащимися школы над элементами архитектуры, он разрабатывает принципы супрематических построений в объёмах и ритме чередований плоскостей, занимается проблемой статики и динамики средствами живописи. Здесь появляются его самостоятельные находки, помимо влияния К. Малевича. Экспериментальные проекты – «проуны» являются толчком к дальнейшим разработкам Эль Лисицкого в живописи, архитектуре, в синтезе фотографии с рисунком.

Некоторый утопизм работ объясняется революционным энтузиазмом, которым были тогда охвачены многие мастера и их ученики.

От экспериментальных «проунов» Эль Лисицкий перешёл к модельной архитектуре, в том числе к «Ленинской трибуне», где динамика на-

пряжённости была усилена движением фигуры говорящего Ленина. Художник применил в этой работе фотомонтаж, который вписался неотъемлемой частью в общую композицию.

С 1921 года он работал во ВХУТЕМАСе, читая курс лекций по Архитектуре и монументальной живописи и одновременно работая в области создания и применения новых форм, основал журнал «Вещь» на трёх языках, в котором огромную роль играет членение набора на столбцы. Они разделяют текст по языкам уточняющими линейками так, что функции их гармонично растворяются в белой плоскости листа, который являет собой дополнительный цвет. Этим художник подчеркивал элементы типографского языка как смысловые сигналы и акцентировал внимание читателя на основных моментах предлагаемой вещи. Он тогда же выпустил издание книги В. Маяковского «Для голоса». Это утилитарное издание подсказало художнику остроумное решение для мгновенного розыска необходимого стихотворения и читки его с эстрады. Эль Лисицкий применил здесь принципы особого регистра, который помог определить соотношение типографских элементов с текстами стихов.

Художник был принят в члены Гутенберговского общества и получил заказ на книгу о типографском искусстве для известной серии «*Bauhausbücher*», что само по себе является всемирным признанием его заслуг. Последней работой зарубежного периода является антология новейших течений и находок мирового искусства «*Kunstismen*» (изд. в Цюрихе, в 1925). В ней – и конструктивное оформление обложек, приближающихся к плакату, и чисто визуальный эффект зрительской концентрации, и контраст разных шрифтовых наборов с различной, свободной компоновкой.

Возвратившись в Москву, он приступил к оформлению отдельного издания поэмы В. Маяковского «Хорошо», это было первое издание поэмы с новым названием, ибо прежнее «25 октября 1917 года» уже не соответствовало новым замыслам автора. В оформлении книги тот же принцип. Передняя и задняя обложки представляют единый иллюстративный разворот, подчёркивая цельность авторской идеи книги.

С 1924 года Эль Лисицкий увлекается фотомонтажными экспериментами, применяя способ фотописи, т.е. съёмки без камеры, создав эффект фиксации светового отражения предметов различной прозрачности. Он разработал ранее найденные приёмы своих предшественников – Ман Рея и Иштвана Моголи-Надя: способом писания светом на светочувствительном материале в сочетании с многократной экспозицией. Таким образом он выполнил портреты Курта Швиттера, Ганса Арпа, свой автопортрет с циркулем, а также ряд фотомонтажей для книжных и журнальных обложек и плакатов.

В течение 1927-1939 годов им выполнены акцидентные и фото монтажные обложки для периодических изданий, популярных в то время журналов «Полиграфическое производство», «Революция и культура», «Строительство Москвы», «СССР на стройке» и многих других. Он заложил основы полиграфического искусства будущего.

Тяжело болевший много лет Эль Лисицкий умер, едва достигнув 51-летнего возраста, 30 декабря 1941 года. Много его работ находятся в музеях России и всего мира (в частности, в музее «Баухауз» в Берлине). На его работах до сих пор учатся многие художники, дизайнеры и конструкторы.

Вскоре после его смерти была арестована и провела много лет в заключении его жена – Софи Лисицкая-Кюпперс (они прожили вместе 16 трудных и счастливых лет!). В Иерусалиме издана её книга «36 писем» крошечным тиражом. Эти письма – своеобразный отчёт о жизни с художником, о трудностях не только лагерной жизни, но и жизни после освобождения, о детях – Курте и Гансе, от первого брака с доктором философии и искусствоведем Паулем-Эрихом Кюпперсом (ск. 7 января 1922 года) и об общем с Эль Лисицким сыне – Йенсе-Борисе; о тяжёлом сталинском режиме, при котором даже не упоминали имя Мастера в России. И только теперь, благодаря вездесущему интернету, стали появляться некоторые подробности его жизни. Думается, что наконец-то появится подробная книга о нём. Хотелось бы, чтобы эти строки хоть немного послужили данью памяти замечательного Человека и Художника – гордости мирового авангарда.

ГАЛИНА ФИРСОВА

КТО Я?

(первая часть)

Я сижу на берегу Шпрее, подставляя лицо слабым лучам, любуюсь перламутровыми бликами на воде. Важно урча и пофыркивая, мимо снуют теплоходы с туристами. На ярко-зелёной траве пенными сугробами красуются сытые лебеди.

Над прозрачным куполом Рейхстага развиваются трехцветные флаги. Страна, которая столько лет была чуждой и непонятной, теперь гостеприимно распахнула двери передо мной и моими детьми. Я живу в городе, где рядом с позеленевшим от времени куполом «Berliner Dom», тянутся ввысь готические костёлы, мечети, золоченые купола церквей и еврейских синагог.

Кто же я? Каким ветром занесло меня сюда? Говорят, что без прошлого нет будущего. Но как нелегко сделать этот шаг, первый шаг на пути в своё прошлое. Тяжёлый маховик памяти качнулся и, скрипя, сдвинулся в обратном направлении. Я хочу, чтобы мои сыновья смогли ответить своим потомкам на этот вопрос.

ПРАДЕД

Древние корни моего генеалогического древа навсегда зарыты в могилах ушедших предков. В памяти всплывают рассказы седой, как лунь, бабушки. С пожелтевшей фотографии добрыми глазами смотрит почтенный старик в кипе с белой окладистой бородой. Это мой прадед.

Зажиточный Екатеринославский еврей, Исайя Найдис был владельцем пяти фабрик лёгкой мануфактуры и отцом 22-х детей. Моя бабушка Вера была 18-м ребёнком в семье. Отец возлагал на неё большие надежды за трезвый расчетливый ум и решительный жесткий характер. Но дочь не оправдала надежд и, нарушив отцовский запрет, сбежала с бедным еврейским мастерovým. За непослушание была лишена родительского благословения и богатого наследства. Они так и прожили всю

жизнь, властная, требовательная дочь бывшего богача и бесконечно добрый, забытый жизнью слесарь-водопроводчик. Такими я и запомнила своих предков.

Мощный прадед погиб под колёсами автомобиля, возвращаясь на веселе со свадьбы, где танцевал на столе, веселя гостей. Было ему тогда 112 лет. Поистине завидная смерть! Из 22-х его отпрысков я запомнила только двоих. Остальные были замучены, сожжены, расстреляны в чёрные дни еврейских погромов, сгинули в пламени революций, войн, голодомора. Вечная им память!

МАМА

Моя мама была старшей дочерью четы Веры Найдис и Моисея Агранович.

Девочка Ева, со стопроцентной еврейской кровью, имела отчаянный и рискованный характер.

В 17 лет, откликнувшись на призыв Веры Хетагуровой строить Магнитку, она покинула отчий дом. Затем был Комсомольск-на-Амуре. Юные годы промелькнули в голоде и холоде, в грязных мокрых палатках, в тяжелых буднях с киркой и лопатой в озябших руках. Весёлый и щедрый нрав помогал выживать в невыносимо-трудных условиях и приобретать надёжных друзей. В своих записках она вспоминала, как в поезде, в котором их везли на Дальний Восток, у соседки по вагону украли пальто и валенки. Девушка рыдала от отчаяния и мама, не задумываясь, отдала ей своё новое пальто и сапоги, а сама потом очень мёрзла без тёплых вещей.

В июле 41-го она ушла добровольцем на фронт. Из-за пятой графы ей трижды отказывали, но она упорно настаивала на своём. Трудно представить 26-ти летнюю еврейскую девушку, прошедшую в артиллерийском расчёте все 4 кровавых военных года. После войны остались награды: за боевые заслуги, штурм Севастополя, освобождение Варшавы, взятие Берлина и многие другие, да ещё подорванное здоровье и полная неопределённость в планах на будущее. В августе 1945, оставив автограф на стене Рейхстага, она распрощалась с военной жизнью и боевым другом, делившим с ней все тяготы солдатских будней.

Когда они вернулись на Родину, их пути разошлись. Он уехал на Урал к семье, а она – в родной Днепропетровск, где в её помощи нуждались старики-родители. Здесь, 5-го мая 1946 года, на свет появился плод фронтовой любви. Смуглого крикливого младенца женского пола тут же в роддоме дружно нарекли Галчёнком. Имя было зафиксировано в метрике, где в графе «мать» значилось: Агранович Ева Моисеевна, а в

графе «отец» стоял прочерк. Это был первый лист моей биографии.

Мама работала в обкоме партии секретарём-машинисткой. И здесь, в «партийных застенках», куда меня приносили для поддержания жизненных сил, с молоком матери впитывала я веру в светлое будущее, преданность советским идеалам и неугасимую волю к жизни. Сколько себя помню, мама всегда работала, работала и работала, а я была предоставлена самой себе и самостоятельно решала свои детские проблемы.

Босоногое, полуголодное детство прошло в бесконечных играх с мальчишками в «войнушки», с деревянными пистолетами и разбитыми коленками. К стихам меня приучали с раннего детства. Помню, как 3-х - 5-ти летнюю девчущку ставили на стул, где-нибудь посреди зала и, почти не понимая смысла, она громко читала стихи о Наполеоне, скрестившем руки на груди, на стене кремлёвской, о Советском солдате, спасшем немецкую девочку в Берлине, и о многом другом. И эта девчущка знала, что живёт в сильной стране со счастливым будущим, которая защитит её от всех бед и невзгод. Так говорила мама, и я ей безоговорочно верила. Я засыпала под её рассказы о военных и трудовых буднях, о верных боевых товарищах, о Великом Сталине, с именем которого прожила она всю свою, увы, недолгую жизнь, о той светлой цели, ради которой прошла все испытания. В её рассказах уживались боль и отчаяние с жизненным и юмором. На мой вопрос о самом страшном испытании, она рассказывала случай, когда однажды, во время ночного привала в лесу, вдруг увидела прямо перед своим лицом огромную руку и громко закричала от ужаса, переполюшав весь взвод. Мама была маленького роста, и оказалось, что солдат, приняв её за пенёк, хотел привязать к ней палатку. Потом все долго смеялись над этими страхами. Я очень любила слушать её воспоминания, прижималась к теплому плечу и чувствовала себя беспечным счастливым птенцом под сильным материнским крылом.

Первый мощный удар судьбы обрушился на меня в 8 лет. Тяжёлая болезнь мамы, ночные ожидания кареты «скорой помощи» (в резиновых ботиках поверх тапочек, на 30-ти градусном морозе), отчаяние от беспомощности... Навсегда врезались в память оскорбления агрессивной соседки по коммуналке в адрес «проклятых жидов». Здесь были и побои стариков, и подливание керосина в суп, варившийся на керогазе в общем коридоре, и обрызгивание хлоркой развешенного на веревках белья, и много прочих гадостей. Было очень больно и обидно. А мама, моя сильная, добрая мама, уже не могла защитить ни своего единственного ребёнка, ни, слабеющих на глазах родителей. Желание чем-то помочь близким толкнуло меня на отчаянный крик о помощи. Помню, как, дыша на озябшие пальцы, тыча пером в полупустую чернильницу, писала я телеграмму товарищу Ворошилову. « Мама прошла всю войну,

она умирает, спасите!!!» В течение года мы не могли добиться, чтобы маму положили в больницу, а тут через 3 дня к дому подъехал военный «газик». Начальник, в шинели со звёздами на погонах и высокой серой папахе, внимательно осмотрел наше жильё и грозно спросил: « Это кто здесь такой пряткий, телеграммы в Москву слать?» Но, увидев мой затравленный взгляд «волчонка», мольбу в глазах бабушки и скатившуюся по маминой щеке слезу, понял всё. Маму поместили в военный госпиталь, что облегчило страдание её последних дней. Она умерла 14-го февраля 1956 года, в день открытия 20-го съезда компартии, развенчавшего культ личности Сталина. И, если бы она не умерла в тот день, она бы умерла всё равно, узнав, что свергли с пьедестала её идола, её веру, её надежду на счастливое будущее.

Я и сейчас вижу девятилетнюю зарёванную девчонку в захудалом пальтишке, стоящую у двери морга. К ней подходят многочисленные друзья и коллеги покойной, жалостливо глядят по голове и, все как один, причитают: «Боже мой, какая молодая...» А девчонка, размазывая слёзы по озябшим щекам, терпеливо объясняет каждому: « Да, нет. Уже не молодая, уже 40 лет...».

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

На этом «беспечное детство» закончилось. Младший брат мамы служил на Дальнем Востоке, состарившиеся от горя и болезней родители не имели возможностей для воспитания внучки. Осиротевшего «байстрючонка» определили в открывшуюся школу-интернат. Тоска сжимала сердце, но жажда жизни и потомственные сильные корни пустили новые побеги. Я обрела большую и дружную семью, в которой было 360 детей и коллектив заботливых педагогов, в основном фронтовиков. Они сумели отогреть детские души и вызвать радостный блеск в рано потускневших глазах. Старшие школьники шефствовали над малышами и у меня, 11-ти летней девчонки, было четверо «детей».

Я прибегала к ним на переменах, защищала от обидчиков, проверяла уроки, вечерами стирала носочки, подворотнички и рассказывала смешные и грустные сказки. Семилетний черноглазый Витенька Орлов, прижавшись и обвив мою шею ручонками, жарко шептал: «Мамочка, не уходи, я тебя так люблю!» Волна тепла и нежности захлестывала сознание. Я чувствовала себя такой сильной и нужной. Мне не было одиноко.

Наша школа имела своё подсобное хозяйство за городом: большой сад, огород, коровы, свинки, кролики... Всем, и первоклашкам, и старшим,

хватало забот. Мы с удовольствием выезжали на прополку и сбор урожая, совмещали летний отдых с полезным трудом на свежем воздухе.

Трудно описать словами чувство гордости и своей ответственности, когда, сидя за одним столом с директором и преподавателями, мы, члены ученического комитета, выслушивали доклад о том, сколько нами заработано денег, какие понесены расходы и какие траты мы можем себе позволить. Мы спорили, что важнее приобрести в первую очередь: ботиночки для малышей или выпускные платья для старшеклассниц, спортивные снаряды или музыкальные инструменты. Мы жили одной семьёй с общими заботами. Приобретённый опыт и знания очень пригодились в жизни. Сколько раз, с теплотой и благодарностью, вспоминала я своих учителей. Низкий поклон вам, родные!

Мне было 13 лет, когда я впервые почувствовала себя «рабочим человеком». Мы проходили производственную практику на заводе, в цеху намотки электродвигателей, и весёлой, шустрой воспитаннице интерната, у которой в руках «всё горело», предложили подрабатывать в свободное от учёбы время. Помню, как провожали меня мои малыши и одноклассники. Заботливая тётя Люба, наш повар, заворачивала тёплые пирожки, а учителя уважительно улыбались. На душе было легко и радостно. На заработанные честно рубли покупались пряники, леденцы и прочие доступные сладости, и я с удовольствием угощала ими своих подшефных любимцев и друзей.

На одном дыхании пронеслись школьные годы, с пионерскими кострами, комсомольскими слётами, художественной самодеятельностью и спортивными состязаниями. Я переступила порог родного интерната, держа в одной руке отличный аттестат, пачку характеристик от Союза писателей, Дворца пионеров и прочих организаций, настоятельно рекомендующих мне учёбу в Литературном институте, а в другой – «выпускные» 10 рублей, байковое платье и, уже не новое, зимнее пальто.

Начиналась новая страница жизни, и я оставалась один на один с судьбой.

ЮНОСТЬ

Мечты о Литературном институте расстаяли сказочным облачком в реальности жизни. С десятью рублями в кармане, да в байковом платье, далеко не уедешь. Жить было негде, да и не на что. Надо было приобретать стабильную специальность. Документы для поступления пришлось подать в технический ВУЗ, при котором было общежитие для студентов. В ожидании вступительных экзаменов, нескончаемо долго

тянулся июль с голодными обмороками и бессонными ночами. Каждый вечер с надеждой спешила к заветной беседке, куда бабушкин сосед по коммуналке Юрка, вне дней запоя, тайком выносил баночку борща и кусок черного хлеба. Спасибо, друг. Не знаю, как бы выжила я тогда без твоей помощи. В августе успешно сданы экзамены, и я – студентка престижного ВУЗа, факультета Вычислительной Техники. Ура! Я вижу цель и знаю, как её достичь. Но до сентября ещё долгих 20 дней... После сдачи экзаменов всех абитуриентов обяжали отработать день в профессорском городке. Напряжение и голод напомнили о себе обмороком. Вокруг засуетились: врача, скорую... В это время мимо проходила жена одного профессора, быстро оценила ситуацию и распорядилась доставить меня к себе домой. После вкусного обеда мы поговорили о жизни, о планах на «сегодня» и «завтра». Доброжелательная хозяйка наградила меня пакетом продуктов и пригласила заходить в гости.

На следующий день состоялось собеседование с деканом факультета. После поздравления с поступлением и пожеланий успехов, когда я, благодарно кивая, направилась к выходу, седой, почтенный академик Латышев Сергей Кузьмич вдруг задал необычный вопрос:

«Скажите, а на что вы живёте? Куда собираетесь до начала занятий?» Я мычала что-то невнятное по поводу десяти рублей, полученных в июне, и готова была провалиться сквозь землю. Декан опустил очки на нос и что-то быстро начеркал на листике бумаге. Затем он протянул мне листок и попросил отнести его в кассу. «Это ваш аванс, - сказал он, - а завтра выходите ко мне на работу». Работа, конечно, была чисто условной, а выданные мне 30 рублей – частью его зарплаты. Сколько же добрых и порядочных людей повстречала я на своем нелёгком пути! Разве могла бы я выжить без их тепла и понимания? Как-то сын сказал: «Мамочка, у тебя была такая несчастная жизнь!» Нет, сынок, моя жизнь была нелёгкой, но несчастной я себя не чувствовала, благодаря людям, которые подставляли мне свои плечи в самые трудные минуты жизни. Как же я благодарна им!

Открывается ещё одна страница жизни, и опять хочется жить, и опять я чувствую себя счастливой.

Яркими картинками как в калейдоскопе, замелькали студенческие будни: лекции, зачёты, сессии, вечера отдыха, смотры, концерты, соревнования... Дни были расписаны, буквально, по минутам. Часто, проваливаясь в сон от усталости, вспоминала, что во рту и «маковой росинки» с утра не было. Тогда из тумбочки извлекалась банка из-под варенья, в которой размачивалась чёрствая корочка, и вкусней этого не было ничего на свете.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На втором курсе появился застенчивый молодой человек, который неоступно следовал по пятам, писал нежные письма и не сводил влюблённых глаз с объекта обожания. Это льстило женскому самолюбию. Любви большой и страстной не было, но так хотелось тепла и заботы. Когда, после поездки к его родителям, я впервые вернулась в общежитие с сумками, полными всяких вкусностей, подружки зашушукались: «От свекрови подарочки...». Потом Комсомольская свадьба, бурное гуляние двух факультетов и тоскливый вопрос: «Зачем я это делаю?». Валера был спокойным, добрым парнем и с моим заводным характером и бурной энергией ему было нелегко справляться. Зато как много материнского тепла и понимания подарила мне его мать. Сколько мудрых советов и важных жизненных уроков преподала она мне. Это была поистине «святая» женщина.

Проживание в разных общежитиях не помешало появиться на свет симпатичному карапузу. Маленький Серёжка дал новый толчок моей жизни. Я его безумно любила, я была ему очень нужна и чувствовала себя сильной и ответственной за это беспомощное существо. Мне было для кого жить и это делало меня счастливой.

Ошибочный брак проявился в полной несовместимости характеров. Мы получили дипломы и, после развода, расстались хорошими друзьями. Я осталась с пятилетним сынишкой в комнатке 12 кв. м. трёхкомнатной коммуналки. У меня была любимая работа, верные друзья, добрые соседи и ясная цель – сделать Серёжку счастливым. И жизнь снова была ключом.

Когда я приносила домой свою 120-ти рублёвую зарплату молодого инженера, мы с сыном садились к столу и раскладывали её на кучки: 20 рублей на отпуск, мы очень любили путешествовать, еда, быт, прочие расходы... Пачка быстро таяла. И тогда сын, не допускающим возражения тоном, говорил: «Мама, если не бегать по лужам, то мои ботинки ещё месяц продержатся, а вот тебе пальто купить надо, ты же в люди ходишь». Мой славный маленький дружок был смыслом всей моей жизни, неиссякаемым источником радости, которую не могли омрачить ни 2-х, 3-х сменные дополнительные работы, ни прочие тяготы быта. Сердце было полно любви, сознание – ответственности, и это прибавляло мне силы.

ПАМЯТЬ ...

И тут ещё раз прошелестело листьями моё генеалогическое древо.

В 1965-м году вернулся из Магаданской ссылки 22-й отпрыск моего прадеда. Мой двоюродный дед провёл в лагерях 25 лет, но чудом сумел сохранить сердечное тепло и желание помогать людям. Он был врачом

и в 37-м «загремел» по этапу, не успев осознать риторического вопроса: «За что?». Жена и дочь отказались от «врага народа», как требовала партия, и он, раздавленный, но не сломленный, на далёком Севере помогал выживать своим братьям. Однажды, из груды мёртвых тел извлёк обтянутый кожей скелет женщины, разглядев в нём признаки жизни. Он спрятал её в своём лазарете, выходил и сделал своей верной помощницей – медсестрой. Позже она стала его женой и стойко выносила все тяготы лагерной жизни.

Анисия Никитична, так её звали, проживала с мужем-комиссаром и двумя детьми в маленьком белорусском городке. В июльский день 1938-го муж не вернулся со службы. Закрыв спящего пятилетнего сына и шестилетнюю дочь в квартире, она решила узнать, что случилось с мужем. Домой она больше не вернулась. Детей увёз в Ленинград её младший брат. И только надежда найти семью давала ей силы переносить все ужасы лагерных пыток, где на общих нарах с жёнами знаменитых военачальников Блюхера, Якира и другими, прошли долгие годы боли, слёз и отчаяния.

Только в 1953-м году узнала она, что муж был расстрелян в 38-м, а машина, в которой брат со своей семьёй и её детьми пытались прорваться по Ладоге из блокадного Ленинграда, ушла под лёд зимой 41-го. Вот тогда и оказалась она в гряде мёртвых тел. Жить больше не хотелось.

Почему я включила трагическую судьбу этих людей в свои воспоминания? Потому что от их, морозящих душу, рассказов, книг Солженицына и других, источников, заслоняя собой все прежние понятия, зрел в мозгу огромный знак вопроса. Как такое могло быть? Зачем? Почему? А мама говорила...

Внутренние убеждения и политические установки молодости таяли, как песочная крепость под набегающей волной информации. А как же мои детские оды партии родной? Где же то светлое, незабываемое, безупречное? Впервые становилось страшно, но не за себя. Моя мама умерла с твёрдой уверенностью, что отдала жизнь за счастливое будущее своего ребёнка. У меня тоже рос сын.

(продолжение в следующих номерах альманаха «До и после»)

МИХАИЛ ГОРДИН



Владимир Жаботинский

О ВЛАДИМИРЕ (ЗЕЕВЕ) ЖАБОТИНСКОМ

(К 130-летию со дня рождения)

1965 год. Толпы людей встречают гроб с останками Жаботинского в аэропорту Сдэ-Дов. Все возбуждены от торжественности происходящего. Гроб поднимают на плечи. Начинается долгое восхождение в Иерусалим. На лицах бывших бойцов подполья слёзы. Люди сменяют друг друга у гроба. Каждый хочет удостоится великой чести, пронести любимого «Жабо» над землёй Израйля хотя бы несколько шагов.

Наконец это произошло. Правительство разрешило захоронить Зеэва Жаботинского в стране, которой он отдал все свои силы до последнего вздоха. Спустя четверть века после его смерти, через 17 лет со дня основания государства, о котором он мечтал, для создания которого он сделал всё что смог.

Владимир Жаботинский родился в 1880 году в Одессе, в эмансипированной еврейской семье. В школе учился средне – аккуратное выполнение домашних заданий не по душе импульсивному юноше. Одна страсть владела им полностью – выражать свои чувства и мысли на бумаге, и эту страсть он пронесёт через всю жизнь. Уже в 16 лет он печатается в популярном «Одесском листке». Через несколько лет его приглашает солидная газета «Одесские новости». Читатели ждут его статей и фельетонов. Он делает переводы на русский язык иноязычных текстов стихов и прозы, пишет рассказы. Жаботинский становится известной фигурой в литературном мире России. Его поэма «Бедная Шарлотта» получила

восторженный отзыв Горького. Куприн отмечал «врожденный талант» Жаботинского и полагал, что растёт «орёл русской литературы». Жаботинский способствовал появлению в печати первой статьи своего друга детства, Корнея Чуковского. Добившись известности, Чуковский напишет с благодарностью: «Он ввел меня в литературу». Еврейские темы не интересуют его в этот многообещающий период. Ясен его жизненный путь, – путь русского писателя.

Всё изменилось в 1903-м году. В Кишинёве начался знаменитый процесс «Дело Бейлиса». За убийство христианского мальчика судят еврея. Мотив «преступления» – кровь для выпечки мацы. В Бесарабии вспыхнули погромы. Мир, в котором жил Жаботинский, раскололся. Он, как и подсудимый Менахем Бейлис, родился евреем, и этого изменить нельзя. На собрании молодых еврейских либералов он выступил с речью, которая оказалась пророческой. «Наступило время серьёзных перемен. Развалятся дряхлеющие империи. Возникнут новые страны, образованные по национальному признаку. Гонения на евреев – симптом болезненных перемен наступающего века. Евреи смогут защитить себя, только создав своё государство, свою армию. И это произойдёт в Палестине ещё при жизни нашего поколения». Жаботинский объявил себя сионистом.

Еврейская тема поглотила воображение молодого журналиста. Его выступления и статьи привлекают внимание, он избирается делегатом на Сионистский Конгресс в Базеле.

Заявление Жаботинского о создании еврейского государства в Палестине звучало тогда нереально. Главный поток еврейской эмиграции тянулся в Америку, в Аргентину, в Австралию, в охваченную алмазной лихорадкой Южную Африку. До Палестины дотягивали небольшие группы еврейской молодёжи из марксистски настроенных кругов. Их лозунгом был: «Труд на земле». Но Земля противилась поселенцам. Малярийные болота, пустыня, враждебно настроенное население. Многие не выдерживали лишений и уезжали. Малочисленные еврейские поселения в Палестине владели жалкое существование.

Теодор Герцль предлагает создать еврейское государство в Уганде. Необозримые просторы, прекрасный климат, обилие полезных ископаемых, поддержка британских властей – всё говорит о реальности этой идеи. И только мало известный депутат от России, Владимир Жаботинский, с жаром заявляет: «Благодатная земля Уганды не удержит поселенцев. Только в Палестине, где каждый камень дышит еврейской историей, полит еврейской кровью, возможно создание еврейского государства». Депутаты Конгресса встречают пылкие речи молодого журналиста с иронической улыбкой. Но чудесная музыка его слов завораживает, захватывает слушателей. Сам Герцль обращает внимание на своего оппонента.

1905-й год. Царское правительство организывает еврейские погромы по всей черте оседлости. В Одессе бурная волна грабежей и нападений на евреев быстро угасает. Погромщиков встретили сплочённые отряды самообороны. Вдохновитель и организатор еврейских дружин – Жаботинский.

Произошло что-то новое, неожиданное для самих евреев. Оказывается, можно защищаться самим, не полагаясь ни на кого. Успех отрядов самообороны изменил сознание евреев России. Жаботинский становится известной фигурой в сионистских кругах, вожакom еврейской молодёжи. Он основывает ежемесячник «Еврейская жизнь», ставший официальным органом сионистского движения в России. На его страницах ведётся ожесточенная полемика против сторонников ассимиляции и увлечения марксизмом. Жаботинский – один из создателей Союза для достижения равноправия еврейского народа в России, делегат 3-й Всероссийской конференции сионистов в Гельсингфорсе, В 1908–1909 гг. он – корреспондент в Константинополе. В это время впервые посещает Палестину. По возвращении в Россию он ведёт активную борьбу за утверждение иврита во всех сферах еврейской жизни. Основывает издательство «Тургман» («Переводчик»), выпускавшее произведения мировой классики в переводах на иврит. В начале Первой Мировой войны Жаботинский оказался в Каире. Там он застаёт тысячи молодых евреев из Палестины, бежавших от призыва в турецкую армию. Еще никто не знает, кто победит в этой войне, но Жаботинский несколько не сомневается. Возникает идея создания еврейского военного подразделения, которое выступит на стороне Англии и вместе с английской армией освободит Палестину от турков. Евреи приобретут бесценный опыт организации своей армии и будут признаны Великобританией союзниками.

Два года настойчивых переговоров с английским правительством, и, наконец, в 1917-м году создаётся первый еврейский батальон. Англичане не торопятся пустить его в настоящее дело, но Жаботинский добивается своего – в 1918-м году еврейские части вступают в Иерусалим с армией генерала Аленби.

Англичане получили Палестину в своё правление, официально заявив о своих намерениях способствовать еврейскому заселению нынешних Израиля и Иордании для создания своего национального очага на этой территории. Жаботинский с семьёй перебирается в Палестину.

Спокойная жизнь длится недолго. В 1920-м году по всей Палестине пронеслась волна кровавых погромов. Жаботинский организывает отряды самообороны. Английские власти арестовывают руководителей и нападавших арабов, и защищавшихся евреев. Жаботинский осуждён на 15 лет каторги. И хотя через три месяца он был помилован, его «ро-

ман» с англичанами закончился. Он первым понял скрытое намерение мандатных властей затормозить приток евреев в Палестину. Ему понятны опасения колониальных властей – цивилизованное население будет стремиться к независимости. Так произошло в Америке и Южной Африке. А Палестина чрезвычайно важна из-за близости к Суэцкому каналу, обеспечивавшему транспортную связь всей Британской Империи. С этого времени для Жаботинского дорога в Палестину закрылась.

Единственной возможностью влиять на события оставался пост председателя Сионистского Конгресса, который занимал тогда учёный с мировым именем, Хаим Вейцман, представитель умеренного большинства. Жаботинский начинает борьбу за этот пост, но его избрание срывается перед выборами. В Тель-Авиве убит Хаим Арлозоров, лидер социал-демократов Палестины. В убийстве обвинили сторонников Жаботинского. Английская полиция с готовностью приняла эту версию, которая так и осталась недоказанной. Избрание Жаботинского было предотвращено.

Большинство палестинских евреев не допускали и мысли об открытом конфликте с Британией. Реальным казалось только постепенное заселение страны, мирный труд на земле. С англичанами нужно улаживать конфликты путём переговоров, а арабам нужно помогать во всём: строить школы, обучать сельскому хозяйству, повышать их уровень жизни. Якобы, только так можно добиться хороших взаимоотношений с ними.

Жаботинский называет социалистический сионизм утопией. Противопоставление интересов еврейского пролетариата и еврейской буржуазии – бред. Только единство, только борьба «под одним флагом». Он утверждает, что ни арабы, ни англичане не примут идею создания еврейского государства добровольно: «Нет дружбы между государствами и народами. Только демонстрация силы может привести к цели». В крови и огне погибла Иудея. В крови и огне Иудея воспрянет. Два берега у Иордана, и оба они наши» – вот лозунги Жаботинского. Веру в совместимость марксизма и сионизма он сравнивает с «поклонением двум богам». Жаботинский производит ревизию укоренившихся понятий. Его оппоненты называют его полупрезрительно ревизионистом. Его считают милитаристом, мечтателем, оторванным от реальности.

Прошло много лет, и бесплотными мечтателями оказались строители социализма и сторонники мирного создания государства. Самые смелые предвиденья Жаботинского полностью оправдались. В наше время политическая партия, следующая идеям Жаботинского, стала ведущей силой, а внук помощника Жаботинского, Беньямин Натаниягу, возглавляет правительство Израиля. Но в конце двадцатых годов лишь небольшая группа людей следовала за Жаботинским.

Утратив возможность влиять на события в Палестине через всемирную сионистскую организацию, Жаботинский создаёт Союз сионистов-ревизионистов со штаб-квартирой в Париже. Его сторонники в Палестине вынуждены действовать втайне и от англичан, и от своих. Создаётся первое еврейское подполье.

После прихода нацистов к власти, главной задачей Жаботинский ставит спасение европейских евреев. «Евреев Европы грозит гибель!» – неустанно взывает Жаботинский. Его оппоненты называют его сумасшедшим – кто в XX-м веке решится уничтожать людей по национальному признаку! Англичане, опасаясь наплыва беженцев, ограничили число еврейских иммигрантов в Палестину до тысячи человек в месяц. Не получив поддержки официальных еврейских организаций, Жаботинский решает начать нелегальную переброску евреев в Палестину силами своих сторонников. Возможности подпольщиков были ограничены – не хватало ни людей, ни средств. Несмотря на трудности, до начала войны были доставлены в Палестину двадцать тысяч беженцев из Европы.

Последний свой проект – создание еврейских добровольных частей, которые выступают против нацистов под бело-голубым флагом – Жаботинский довести до конца не успел. Сказалось колоссальное напряжение, в котором он жил все годы. Во время посещения военных лагерей Бейтара, под Нью-Йорком в 1940-м году, его поразил обширный инфаркт.

Предназначение пророка – указать правильный путь. Предназначение политического лидера – повести за собой людей. Во всей человеческой истории только единицам удалось объединить обе функции. Жаботинскому это почти удалось. Он всегда боролся за свои идеи с открытым забралом. Закулисные интриги и готовность безжалостным расчётом отсечь тех, кто мешает, не стали его оружием. Потому он и остался без руководящих постов.

Судьба пророка, не пришедшего к власти – быть заброшенным камнями неприятия. Жаботинского камнями не забросали. Его противники долгие годы пытались погасить память о нём. Только в 1965-м году правительство Израиля в знак национального примирения разрешило перевезти прах Жаботинского в страну, которой он отдал всю свою энергию, всю свою жизнь. Жаботинский покоится в Иерусалиме, рядом с другим великим борцом за создание еврейского государства – Теодором Герцлем.

РЕГИНА ЛИХТМАН

ЧЕРТОВСКИЙ МОЙ СКРИПАЧ

(Часть первая, в сокращении)

– Выходи за меня замуж!

Мы сидели в ресторане одесской гостиницы «Лондонская». Я недоуменно посмотрела на своего визави, который был на вид едва ли не вдвое старше меня, с короткими ручками, уже начинающего лысеть, и с намечающимся брюшком, и невольно рассмеялась.

– Помилуйте, Яков Борисович, что вы такое говорите, вы же солидный серьезный человек! Ведь мы с вами сегодня только познакомились, и вы меня совсем не знаете...

– Да все я про тебя знаю! Все равно ты будешь моей женой, – невозмутимо ответил тот, и тоже заразительно засмеялся.

Зная меня тогдашнюю, недоумение мое можно было понять. Я никак не выглядела на свои двадцать шесть лет, я успела «сходить замуж» и вновь стать вольной, как ветер, ведя в свободное от работы время жизнь легкомысленную и беззаботную, и была, судя по толпам поклонников, добивавшихся моей благосклонности, весьма недурна собой. В свое время я собиралась поступать в университет на факультет русского языка и литературы, пойдя по стопам моей любимой школьной учительницы, перед предметом которой благоговела, но моя практичная тетка настоятельно отговаривала меня от этого пагубного, по ее мнению, шага.

– Ой вей, какой университет, какой русский язык, – смотрела она на меня со скорбным сожалением, как на умом обиженную. – Ведь ты «сир» или «бринза» нормально виговорить не можешь, твои ученики на первом же уроке будут так долго смеяться! Да и шо это за профессия – учительница, курам же ж на смех! Нет, ты брось из головы этих глупостей и освой какую-нибудь приличную специальность, с которой у тебя всегда будет масло на хлеб!

– Так я поступила в техникум легкой промышленности, где обучилась всем тайнам и премудростям искусства кройки и шитья. К моменту

описываемых событий я стала модной портнихой, работала мастером в ателье «Люкс» в центре Одессы и манекенщицей в Доме моделей, дефилируя на его подиуме в одеяниях немаркого цвета, предназначенных для среднестатистической советской женщины эпохи развитого социализма. После работы я «вела светский образ жизни», а по ночам шила себе для этого из «сэкономленных» на работе материалов умопомрачительные туалеты. Когда я, в очередном невероятном головном уборе площадью чуть ли не в квадратный метр, втискивалась в переполненный одесский трамвай, едущие там разгоряченные потные кумушки с невыбритыми подмышками, прерывали свое громогласное общение через весь вагон: «Софа! Что-то вы сегодня таки неважно выглядите!» «Так я сегодня еще не умывалась...», и шипели на меня: «Мадам, в таких шляпах в такси ездить надо!»

Нужно честно признаться, что я была тогда очень тщеславна. Я хотела во всем быть лучше всех, всем выделяться, чтобы при моем появлении на меня нельзя было бы не обратить внимание, и даже, смешно теперь вспомнить, ходила на женский пляж, где загорала с конусом, свернутым из газеты и водруженном на левую грудь, чтобы та оставалась молочнорубой на фоне медного загара – так что я выгодно выделялась бы из общей массы даже и в бане, будучи лишеной своих экстраординарных нарядов. Поэтому завистливое неодобрение трамвайных хамок вызывало во мне лишь чувство глубокого удовлетворения – как свидетельство, что я на верном пути.

Мы познакомились сегодня утром на пляже Ланжерон. Я загорала там вместе с мамой, когда к нам подошли двое мужчин. Одного из них я хорошо знала, другой же, лицо которого показалось мне знакомым, весело улыбаясь, представился Яковом Борисовичем. Они попросили присмотреть за их вещами, пока они купаются; все время, пока их не было, я припоминала, где же я могла его видеть. И вспомнила: будучи меломанкой, я часто посещала одесскую филармонию, и видела его там. Это был первый скрипач филармонического оркестра.

Яков Борисович вызвался меня проводить, а потом пригласил на свидание, пообещав встретить у дома. Я легкомысленно согласилась, и тут же об этом забыла: сколько таких пляжных предложений получала я каждый день! А тут – такой непрезентабельный кавалер, пожилой, маленький, с животиком...

Но видно, от судьбы не уйдешь. В гости к обеду пришла моя тетка, избавившая меня в свое время от жалкой и незавидной доли учительницы русского языка и литературы; преисполненная вечной благодарности за свое чудесное спасение, я пошла проводить ее до трамвайной остановки, где и увидела терпеливо ожидавшего меня Якова. Мне бы прошмыгнуть,

оставшись незамеченной, мимо... Но что-то толкнуло меня к нему, я подошла и стала жалко лепетать в свое оправдание.

При виде меня он расцвел и слушал мои сбивчивые объяснения с улыбкой, а потом сказал:

– Знаешь, я заказал столик в «Лондонской». Поужинаем?

У Якова Борисовича был как раз тридцатидневный отпуск после длительных гастролей, так что дневные репетиции и вечерние концерты не отвлекали его от планомерной и методичной осады моей крепости. Вести осаду он умел и делал это красиво и с размахом. Каждый день он приглашал меня то в оперный театр на первые ряды, то в филармонию, в рестораны с шампанским и икрой; каждый день я получала цветы, он заваливал меня коробками с шоколадом, а у подъезда меня всегда встречала машина. «Откуда же он берет на все это деньги?» – недоумевала я: его выдавшая виды одежда и поношенная обувь никак не сочетались с широким образом жизни арабского халифа, который он мне демонстрировал, зато полностью соответствовали зарплате провинциального, то есть не выезжающего на зарубежные гастроли, оркестрового музыканта с концертной ставкой в шестнадцать рублей за выступление. В этом таилась какая-то загадка, пробуждавшая во мне женское любопытство и интерес. А он осыпал меня комплиментами, галантно целовал руки – и смеялся, смеялся, смеялся...

Так за мной не ухаживал еще никто и никогда! Он предугадывал все мои желания, с ним было хорошо, спокойно, надежно, а главное – так весело. И незадолго до окончания его отпуска крепость моя пала, Яков Борисович стал для меня просто Яшей.

...Много лет спустя, я все же случайно узнала, откуда у него были деньги на весь этот маскарадный шик. Оказалось, что он, чтобы пустить мне пыль в глаза и иметь для этого средства, попросту заложил в ломбарде свою концертную скрипку, благо был в отпуске...

Скоро Яша отправился на очередные гастроли. Он звонил мне каждый день, и мы подолгу болтали; и он присылал мне деньги, все время уговаривая к нему приехать. Мне и самой было бы интересно попутешествовать, но не могла же я вот просто так бросить свою работу!

Работала я в ателье высшего разряда, и должность моя неромантично называлась «мастер верхней одежды». Там можно было неплохо зарабатывать: все, кто там работал, были кройщиками и портными высочайшей квалификации и получали по высшей ставке; кроме того, чаевые были известным всем клиентам негласным, но непреложным правилом, и все они сразу после вопроса «а сколько стоит» спрашивали: «А сколько сверху?»

Но это было не главным. Там было так весело! Коллектив состоял из

молодых и талантливых в своем швейном ремесле людей – но ведь известно, что если человек талантлив, то это проявляется во всем... Все соревновались друг с другом в шутках и розыгрышах; и, когда к кому-нибудь из нас заходил клиент, работа замирала; все слезали со столов, сидя на которых, как птицы на жердочках, кроили и шили, в предвкушении удовольствия от шоу коллеги, к которому пришли.

Шоу-звездой нашего ателье был, безусловно, виртуозный закройщик, еврей польского происхождения Йося Блехер. Маленький, с всегда красными щечками, в круглых, бабелевских очочках, и говоривший по-русски поистине катастрофически, он, тем не менее, обладал двумя несомненными достоинствами: артистическим профессионализмом, так что к нему на прием было не попасть, – и отменным, хоть и специфическим, чувством юмора. Когда к нему на примерку заходила очередная безразмерная клиентка с огромным бюстом, работа прекращалась: начинался его шоу-тайм.

Он обвешивал заказчицу выкроенными фрагментами ее будущего пальто с ног до головы, нисколько не заботясь о логике их расположения на ее необъятных телесах, и, буквально летая вокруг нее, как волшебный эльф, решительно подступал с мелком в руке к ее балконообразному бюсту, находившемуся на уровне его головы, и рисовал крестики на тех деталях выкройки, которые случайно на нем оказались, озабочено бормоча как бы про себя: «так, тут курманчик, тут курманчик...» Дама от карманчиков застенчиво отказывалась, ссылаясь на и так непомерные габариты этой части своей фигуры, роскошь которой следовало бы, наоборот, несколько приглушить; Йосе же только того и надо было. «Так, мадам, я все понял, не надо курманчиков», – тут же соглашался он, и, отложив мелок, начинал обеими руками тщательно и трудолюбиво оттирать наметки с груди своей вконец растерявшейся жертвы.

Отсмеявшись, мы залезали обратно на столы, чтобы продолжить работу. Но не тут-то было – к Йосе заходила следующая клиентка, на этот раз за готовой продукцией. Все головы поворачивались в его сторону; мы знали, что сейчас будет исполнен его коронный номер. Он снисходительно выслушивал устные проявления восхищения и благодарности, с достоинством принимал и прятал в карман проявления благодарности более весомые, церемонно прощался... Когда она, ошарашенная, доходила до двери, он делал круглые испуганные глаза и бросался вслед с трагическим криком:

– Мадам, подождите! Я дико извиняюсь, но я же забыл пришить вам половой держатель!!!

Не ведая, что речь идет всего лишь о простой петле на внутренней стороне левой полы пальто, в которую продевалась пуговка, пришитая

на внутренней же стороне правой полы, дама пугалась, понимая лишь, что произошло нечто катастрофическое, и потому не сопротивлялась никаким манипуляциям, нам на потеху вытворяемым мастером с изнанкой изделия, надетого на ее роскошное тело.

Утерев слезы смеха, мы снова пытались приступить к прилежной работе. Но увы, не судьба – входил человек, принесший для реализации «свежекраденное». В наше ателье регулярно приходили так называемые несуны, приносившие образцы продукции предприятий народного хозяйства, на которых ударным трудом приближали победу коммунизма, а пока он не наступил, по возможности осваивали хотя бы основы грядущего распределения по потребностям. На случай таких деловых визитов в ателье имелись точные весы, на которых взвешивалась свежайшая сметана, которую можно было резать ножом, куски телячьей печенки, от которых, казалось, все еще идет пар... Я всегда удивлялась, как можно вынести через проходную родного предприятия целый торт «Сказка», целиком пропитанный и прослоенный, только что без кремowych розочек и цукатов поверх полена.

У нас и у самих были маленькие хитрости. Любой из нас мог выкроить двенадцать подкладок из материала, предназначенного для десяти. Существовала технология так называемой «французской переделки», когда клиентке, которой якобы «вроде немного жмет подмышками», обещали все сделать в лучшем виде, да так, что она и не заметит, что ее фирменная шмотка побывала в переделке, и говорили, что работа эта сложная и требует времени – после чего ее предмет туалета долго, чтобы она успела от него отвыкнуть, висел на вешалке – до момента получения заказа. Клиентка приходила, убеждалась в том, что вещь, действительно, как новенькая, платила согласно прейскуранту и, счастливая, уходила, раздав щедрые чаевые; ей уже ничто нигде не жало...

Так что и мы были не без греха, никто из нас не мог бы первым бросить камень! Но все же было интересно: ну, печенку – в трусы, сметану – в грелку, палку копченой колбасы – в носок... Но торт-то куда?!

Когда же клиентов не было и становилось скучновато, мы разыгрывали друг друга. Например, когда рабочий день заканчивался и пора было собираться домой и одеваться, оказывалось, что кому-нибудь из нас вдруг никак не удастся попасть в рукава своего пальто или куртки: они оказывались густо застрочены на машинке в несколько рядов, так что несчастный получал вдруг сверхурочную работу и был вынужден добрые полчаса, что называется, трудиться на себя, распарывая искусно выполненные тончайшие швы... В общем, развлекались как могли, что как-то не мешало вовремя сдавать заказы и выполнять план и социалистические обязательства. В коллективе царили теплые, дружеские отно-

шения, никто не плел интриг и никто никого не подсиживал, работалось легко и весело, да и заработки вместе с чаевыми были такие, что дай Бог каждому; так что местом своим я дорожила, и просто так его покинуть не могла и не хотела даже ради радости встречи с Яшей и своей «охоты к перемене мест».

Поэтому, хотя Яша каждый день торопил и настаивал, я дисциплинированно подала заявление о предоставлении гражданке Змеевской Р.В. двухнедельного отпуска без сохранения содержания. Вообще-то я была Вайсман, но оставила при разводе фамилию мужа, потому что на нее были оформлены все документы: диплом, трудовая книжка, паспорт и так далее. Отпуск был предоставлен при условии, что все мои данные клиенткам обязательства будут аккуратно и в срок выполнены до моего отъезда; начало отпуска было датировано числом будущей сдачи моего последнего заказа. Не стоит говорить, что я старалась, как могла, работала по-стахановски, и закончила все в рекордные сроки, включая даже «французские переделки». И вот я впервые в жизни летела самолетом: в Ригу, где гастролировал Яша.

Встречал меня весь оркестр. Незнакомые люди здоровались, приветливо улыбались мне, как родной, и уважительно перешептывались: «К Якову Борисовичу жена приехала...» Я сразу почувствовала, что его любили все его коллеги, хотя он был не только солистом, но по совместительству и директором оркестра, и в любом «нормальном» советском коллективе ему бы завидовали за первое и побаивались из-за второго. Эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил Яша, находился в длительной концертной поездке по всем трем прибалтийским республикам, после чего следовал Ленинград. В те времена нечего было и думать о поездках в Европу, и Прибалтика воспринималась как маленький доступный кусочек Запада. Все здесь было другим: маленькие ухоженные города с пряничными домиками, как в сказках Андерсена, где на узких кривых улочках можно было встретить настоящего трубочиста в черном сюртуке и цилиндре, особый неповторимый угольный запах дыма каминов, кирпичи и костелы с затейливыми флюгерами на шпилях... И даже люди были другими: они никуда не спешили, были вежливы и предупредительны, не было ни следа нашего обычного советского хамства. Советская власть еще не успела за неполные тридцать лет своего правления на этой земле изменить их на генетическом уровне, и было живо поколение, которое еще хорошо помнило, что такое добросовестная работа и уважительное отношение к человеку. Для меня, всю жизнь проведшей в Одессе, это была первая поездка, я попала как бы в другой мир – и была от него в полном восторге. «Какая же, оказывается, краси-

вая и интересная жизнь у этих музыкантов», – немного завидовала я, по наивности думая, что все гастролы такие, как эти. Как жестоко я ошибалась, мне предстояло убедиться очень скоро...

В первый раз я узнала Яшу не в качестве умелого и коварного оболъстителя, донжуана и бонвивана, а в повседневной, бытовой жизни. Официально расписаны мы еще не были, и без штампа в паспорте селить нас в гостиницах вместе были, вообще-то, не должны. Нам помогал представленный к оркестру партийный работник, ведавший вопросами прописки и расселения, а в случае необходимости все шестьдесят человек в один голос готовы были подтвердить ложь, что мы муж и жена. Кроме того, это была Прибалтика, почти Запад; да и Яша обладал каким-то магическим даром с первого взгляда располагать к себе людей (до такой степени, что однажды в какой-то захолустной дальневосточной гостинице директриса принесла для него удобную подушку из дома!).

Оказалось, что у моего избранника есть странноватые и чудные привычки. Например, вселившись в гостиничный номер, он первым делом везде, где можно, включал свет, независимо от времени суток, и все имеющиеся электроприборы, под лозунгом «все оплачено – все должно работать». Сразу после этого он снимал брюки, оставаясь в трусах. Поскольку он был директором оркестра, уже минут через десять в дверь за какой-нибудь надобностью стучал кто-то из музыкантов; он надевал брюки обратно и убегал что-то улаживать и утрясать, а вернувшись, снимал их снова. Тут же раздавался новый стук в дверь, Яша надевал брюки и опять убегал... И так раз по сто в день!

– Спать он мог до часа дня, когда я начинала уже его теребить и трясти за плечо: «Яша, сколько можно спать, вставай, ты же директор!» Однажды в каком-то городишке нам все-таки не удалось попасть в один номер, и Яша поселился, как это было всегда до моего приезда, со своим другом, тромбонистом. И вот часов в двенадцать я зашла за ним, чтобы пойти вместе пообедать... Тромбонист усердно занимался, издавая сотрясавшие стены оглушительные звуки – а мой маэстро со счастливой улыбкой на лице безмятежно спал!

У него не оказалось с собой ни одной книжки. Я, привыкшая каждый день читать, не могла этого понять. И вот я начала читать ему вслух! Надо сказать, что к книгам он быстро пристрастился и скоро читал уже сам, запоем, как бы наверстывая упущенное...

Две недели пролетели быстро. Это была яркая, полная впечатлений поездка, и я покидала Прибалтику и своих новых друзей с сожалением, а Яша со своим оркестром отправился в Ленинград, где у них были запланированы десять концертов в Летнем саду. А скоро в оркестре освободилось место костюмерши, и я, чтобы быть рядом с Яшей и продолжать

вкушать райские плоды яркой гастрольной жизни, все же уволилась из своего любимого ателье.

Наш первый и последний совместный маршрут был по Средней Азии. Поездка начиналась с Душанбе, где мы встретили Новый, 1966 год. Было очень тепло, светило яркое солнце, и поэтому откуда-то привезенная и роскошно наряженная елка, стоявшая в холле нашей гостиницы, выглядела как-то неправдоподобно. Местная экзотика проявила себя сразу: впервые в жизни мне пришлось пережить землетрясение; согласно указаниям персонала гостиницы мы стояли в дверных проемах и со страхом смотрели, как на пол со стен летят картины под жутковатый аккомпанемент прыгавшего на стеклянном подносе графина. Все обошлось благополучно, но ощущение своей ничтожности и полной беспомощности перед грозной стихией было не из приятных.

Главным предметом гастрольной экипировки был, конечно, кипятильник. В меню буфетов всех захолустных гостиниц был примерно один и тот же немудреный репертуар: «Яйцо под майонезом» (половинка крутого яйца с пятнышком прогорклого майонеза сверху), «Омлет паровой» (яичный порошок с мукой, разболтанный в молоке пополам с водой и запеченный на огромном противне), а в сезон – «Салат из помидоров» (один толсто нарезанный помидор, ломтики которого украшала чайная ложка сметаны). Эстеты, гурманы и просто любители сладкого имели возможность приобрести за семь копеек коржик, или за восемь – булочку с маком. Поэтому, чтобы честно заработанный за годы гастролей гастрит медленнее переходил в неизбежную язву, переводившую музыкантов в разряд заслуженных и маститых артистов, ветеранов советской музыкальной культуры, все старались провинциальные предприятия общественного питания по возможности обходить стороной и готовить что-нибудь псевдодомашнее в гостиничном номере из подручных средств, игнорируя строжайшие запреты «Правил противопожарной безопасности», согласно инструкции украшавших внутреннюю сторону двери каждого номера любой гостиницы. Мой Яша, например, приехав в новый город, первым делом отправлялся на местный базар, откуда возвращался с курицей. С видом триумфатора он показывал эту курицу мне, держа ее за ноги, чтобы и я могла насладиться ее неземной красотой в еще нерасчлененном виде; после этого птица по частям отправлялась в большой эмалированный чайник, куда запикивались также почищенные и нарезанные овощи, купленные на том же базаре. И вот, наконец, в чайник погружался кипятильник, и через какой-нибудь час мы получали ароматное варево, вкусную и здоровую пищу на два дня, которую Яша, впрочем, обычно с аппетитом съедал в один присест... Я находила, что в условиях кочевого спартанского гастрольного

быта чайник был гораздо удобнее банальной кастрюли – ведь бульон можно было наливать практически без потерь через носик, после чего извлечение твердых компонент импровизированного супа без половника, вилкой, уже не представляло труда.

– Запретные эти кипятивники были у всех. Они различались по размерам: от миниатюрных, на стакан, позволявших сварить утренний кофе вместо покупки за пять копеек порции отвратительной бурды с таким же названием из титана гостиничного буфета (на ценнике часто значилось: «кофе бачковое»), до гигантских, применявшихся для приготовления бараньей ноги в фаянсовом сливном бачке туалета, из которого для такого случая временно удалялись пластмассовый поплавок и все металлические части. Объединяло же их то, что все они были «сделаны в СССР», и обладали потому независимо от размеров такой мощностью потребляемой силы тока, что после одновременного ночного включения хотя бы двадцати из них, когда оркестр после концерта возвращался к месту временной прописки, а буфет был давно закрыт, гостиница, если была небольшой, погружалась во тьму: вылетали предохранительные пробки, даже если на них красовался Знак Качества...

Однако не пищей единой в вареном виде жив человек; иногда хотелось и пищи жареной. Если в гостинице имелся ресторан, мы с Яшей шли обедать туда. Мой муж заказывал какой-нибудь бифштекс, и, когда нам приносили по тоненькому листику мяса, озабоченно заглядывал в меню:

– Та-а-ак... Бифштекс натуральный, двести граммов... Интересно... А ну-ка, положите его на весы!

Естественно, воровали тогда повсеместно, и кусок мяса оказывался вдвое легче, чем было указано в прейскуранте; и тогда Яша устраивал форменный скандал, который продолжался, пока в результате нам не приносили с ненавистью новые, по весу уже нормальные, порции – хотя уверенности, что туда в отместку не плюнули, у меня не было.

В этом был он весь: он знал все правила, нормы и ассортиментные минимумы, и, добываясь их неукоснительного выполнения, везде «качал права»; в любом городе он знал все ходы-выходы, к кому за чем обращаться, где рынок, где какие магазины и концертные площадки... Именно поэтому весь оркестр и выбрал его единогласно директором – музыканты знали, что он лучше всех проследит, чтобы их расселили в приличные номера гостиницы, позаботится о железнодорожных билетах в купейных вагонах, а если надо, то и уладит в коллективе мелкие внутренние конфликты...

Как директор он проявлял об оркестрантах поистине отеческую заботу. В оркестре было множество любителей выпить, особенно среди

духовиков. К соблюдению трудовой дисциплины в смысле трезвости на сцене, опрятного внешнего вида при исполнении служебных обязанностей и тому подобным условностям они относились без должного прилежания; Яша же почему-то считал, что, например, если целая группа саксофонистов играет на авансцене что-нибудь прекрасное, нажимая на блестящие клапаны своих инструментов пальцами с траурной каемкой под ногтями, это несколько снижает у публики общее эстетическое впечатление от их музицирования. Поэтому в гостинице он ловил их по одному и сам стриг им ногти! Надо сказать, что очень скоро духовикам эта процедура так понравилась, что перед особо ответственными концертами к нему на маникюр выстраивалась целая очередь.

Борьбу с пьянством Яша начал еще задолго до Горбачева. Что там говорить о духовиках, если даже так называемый «выходной певец», исполнитель патриотических песен и член, а в данном случае и голос коммунистической партии, выступлением которого должен был начинаться каждый концерт, частенько добирался до авансцены по весьма сложной и замысловатой траектории; вцепившись обеими руками в микрофонную стойку; чтобы не упасть, он придавал своему телу более-менее вертикальное положение, и торжественно открывал концерт какой-нибудь песней о Родине, о партии, невольно со стуком покачивая микрофоном из стороны в сторону не в такт. Это зрелище было явно идеологически не выдержанным, и потому вызывало в публике нездоровый одобрительный ажиотаж, а концерт бывал на грани срыва, еще не начавшись. Таких поклонников зеленого змия в оркестре было немало; Яша знал их наперечет, и командировочные им на руки не выдавал, чтобы они их не пропили и не проиграли в карты, а покупал им на эти деньги лагманы и прочие горячие сытные блюда восточной кухни, пытаясь обеспечить своим подопечным сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Но они, конечно, все-таки ухитрялись деньги где-то доставать, и регулярно напивались до изумления все равно.

В поездке я почувствовала, что возможно, как говорится, слегка беременна. Не скрою, у меня были сомнения: вот и конец моей вольной, веселой жизни, конец фигуре, и впереди лишь бессонные ночи, крики да пеленки; да и с Яшей мы не были еще расписаны – его жена упорно не давала ему развода. Но Яша так хотел ребенка! Все решило письмо моей мамы. «Тебе уже двадцать семь лет, – писала она. – Рожай; ты даже не представляешь себе, что это за счастье – иметь ребенка...»

Когда мы вернулись после этих среднеазиатских гастролей в родной город-герой Одессу, меня было не узнать. Я была на восьмом месяце, поправилась почти на двадцать пять килограммов, привыкла не реагировать агрессивно на вопрос «Инночка, да что же ж вы таки над собой из-

делали»; я поступила на работу в свое прежнее ателье, и, утратив весь свой прежний задор и боевой дух, целиком сосредоточилась на предстоящем. Яша добился наконец официального развода, и, хотя я была «невестой с икрой», церемонно на мне женился, не претендуя на улады первой брачной ночи. Чтобы оставаться в Одессе с семьей и не мотаться больше месяцами по гастролям, он перешел в оркестр местного музыкального театра. И вот десятого июля 1966 года в одесском роддоме на Комсомольской улице произведен был на свет младенец мужского пола, который по еврейской традиции в честь покойного деда был наречен Борисом.

От музыкального театра мы получили девятиметровую комнатку в огромной коммунальной квартире, где, кроме нас, проживали еще тридцать пять человек и несметные полчища огромных южных тараканов. Квартира располагалась на третьем этаже старого, никогда не ремонтировавшегося дома, куда по несколько раз в день приходилось затаскивать коляску – ведь с ребенком полагалось гулять. Да и без коляски беготни по лестницам было предостаточно: туалет в квартире проектом был как-то не предусмотрен, и «удобства» находились во дворе; точно напротив нашего окна красовалась будка, на которой крупными буквами было выведено: УБОРНАЯ. Надпись на будке была явно излишней: фиалками оттуда отнюдь не пахло, и перепутать назначение строения было невозможно...

Через год или полтора мы переехали в другую коммунальную квартиру – в комнату в целые двадцать пять квадратных метров! По закону эта жилплощадь была минимальной для семьи из трех человек, но по тем временам считалась роскошью неслыханной, тем более, что ватер-клозет в квартире имелся. Стены «тронного зала» украшали пятнадцать или шестнадцать унитазных стульчаков с выцарапанными на них фамилиями их владельцев – видимо, индивидуализм, снобизм и неуместное буржуазное чистоплюйство обитателям квартиры были отнюдь не чужды. Для предотвращения ненужных взаимных претензий материального характера лампочка в санузле отсутствовала; таким образом, никто не имел возможности навлечь на себя справедливый гнев соседей, не выключив свет в туалете, и вопрос, чья очередь раскошелиться на новую лампочку взамен перегоревшей, тоже не возникал. Каждый страждущий посещал отхожее место с собственной лампочкой, ввинчивая ее в свисавший с потолка пустой патрон, а после наступившего чувства облегчения, чтобы не обжечься, с помощью одного из кусков газеты, нацепленных на гвоздь для более насущных надобностей, бережно вывинчивал лампочку обратно и рачительно относил в свою комнату.

Когда родился Боря, Яше было уже почти сорок лет, и он просто души не чаял в сыне, вкладывая в него всю любовь, на которую способен еврей-

ский отец к своему позднему ребенку. Он с удовольствием менял пеленки, вставал к нему ночью, таскал тяжелую коляску по лестницам, часами гулял с ним, пел колыбельные (наследник охотно слушал их все, но засыпал исключительно под «на позиции девушка провожала бойца») и рассказывал сказки; когда же Боря подрос, водил его в детский сад, а когда не было репетиции, то и забирал его оттуда, ничуть не смущаясь тем, что воспитатели частенько принимали его за младежового дедушку, и спрашивали, а где же родители ребенка. Дома он был неистощим на выдумывание разнообразных веселых игр, и устраивал для Бори целые представления, от которых тот приходил в неопиcуемый восторг, и вообще носился с ним, как с писаной торбой.

Коренным одесситом Яша не был. Он родился в Новоград-Волынском, захолустном райцентре в Житомирской области. Из-за туберкулеза отца семья переехала в Крым, в Алупку. Яшу «открыл» Петр Соломонович Столярский, проводивший там отпуск. Это был поистине выдающийся скрипичный педагог: уже на Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей победителями стали его ученики Елизавета Гилельс и Михаил Фихтенгольц. В 1933 году усилиями Столярского в Одессе была открыта первая в стране специальная музыкальная школа-десятилетка для одаренных детей, по образцу которой потом были созданы аналогичные школы в Москве, Ленинграде и других городах. А 1937 год стал для него триумфальным: на конкурсе имени Эжена Изаи в Брюсселе победил Давид Ойстрах, а призовые места получили Борис Гольдштейн и те же Гилельс с Фихтенгольцем, все – его студенты! И вот этот знаменитый преподаватель, народный артист СССР, услышал игру Яши и стал настойчиво уговаривать его родителей переехать к нему в Одессу, чтобы он учился в его школе; он утверждал, что мальчика ждет блестящее будущее. От такого предложения отказаться было трудно. Отец из-за болезни ехать не мог; когда Яша с мамой вдвоем приехали в Одессу, Столярский целый год из своих средств оплачивал им номер в гостинице, пока они не получили, наконец, комнату!

Первое серьезное Яшино выступление состоялось, когда ему было тринадцать лет; в Доме Красной Армии он исполнил виртуозный скрипичный концерт Венявского. Как раз в тот день умер его отец, но отменить концерт было уже невозможно...

В войну Яша с матерью оказался в эвакуации в Ташкенте, где уже находилась ленинградская музыкальная школа-десятилетка с ее замечательными педагогами; ее-то он и окончил, а после войны, вернувшись из эвакуации в Одессу, поступил в консерваторию. Скрипач от Бога, специальностью он овладевал легко, не особенно изнуряя себя многочасовыми занятиями. Казалось, что он родился со скрипкой в руках, и

плотный, красивый звук, точность интонации и виртуозная беглость пальцев были у него природными; не зря же говорили, что даже когда он играет на каком-нибудь девятирублевом инструменте, в его руках он поет, как скрипка Страдивари. Но в те времена, да и много лет спустя после описываемых событий, имели огромное значение общественно-политические предметы: история КПСС, политэкономия, исторический и диалектический материализм, марксистско-ленинская философия и тому подобная дребедень. Без сданных зачетов и экзаменов по этим дисциплинам студент попросту не допускался к экзамену по специальности; Яша же проявлял к ним беспрецедентную бездарность, был просто не в состоянии запомнить ни одной строчки из учебника, ни единой даты, не говоря уже о повестках дня дореволюционных партийных съездов и об европейских городах, где они проводились – и проваливал эти зачеты и экзамены один за другим. Его профессор бегал на кафедре общественных наук умолять прослушать талантливого студента еще раз, чтобы его не отчислили из консерватории за неуспеваемость. Яша приходил пересдавать – и все повторялось снова... Например, когда он в пятый раз пытался пересдать основы марксизма-ленинизма и в очередной раз тупо молчал, глядя на преподавателя скорбными, полными страдания и муки глазами, тот наконец устало махнул рукой:

– Ладно, Лихтман, вот вы тоже еврей, но надоели вы мне смертельно. Я поставлю вам зачет. Но вы рот-то хоть откройте...

После окончания консерватории Яша поступил в симфонический оркестр одесской филармонии, где выиграл первый же конкурс на замещение вакантной должности концертмейстера, которая давала право играть с этим оркестром определенное количество скрипичных концертов в год в качестве солиста. Он организовал также струнный квартет, где играл партии первой скрипки; правда, ему пришлось по настоянию руководства филармонии русифицировать свою фамилию, так что на афишах он значился как Яков Светлов, но он пошел и на это. Несмотря на такую разностороннюю концертную занятость и постоянное, почти ежедневное нахождение на сцене в течение всех долгих лет своей трудовой деятельности, ему приходилось ежегодно представлять перед тарификационной комиссией Управления культуры для подтверждения квалификации и права на шестнадцатирублевую концертную ставку. Комиссия состояла в основном не из профессиональных музыкантов, а из профсоюзных и партийных работников, мало разбиравшихся в исполнительском искусстве, и Яше приходилось безропотно сносить и это унижение.

Сына своего он обожал до боготворения. И, конечно, будучи великолепным профессионалом, он начал обучать Борю уже с трехлетнего

возраста игре на скрипке по специальной методике раннего музыкального развития, разработанной знаменитым японским педагогом Шиничи Судзуки, так что тот к семи годам оказался отлично подготовлен к поступлению в ту самую школу для одаренных детей имени Столярского, из стен которой Яша вышел когда-то сам. Однако директор школы, Яшин приятель, сказал ему открытым текстом, что по негласному распоряжению сверху ни одного еврея в этом году он принять не сможет... К проявлениям государственного антисемитизма в отношении себя самого Яша давно привык, и научился принимать их как неизбежную данность, но вот стерпеть их в отношении любимого сына оказался не в состоянии. Он был в ярости, и тогда же решил, что ради будущего своего Бори сделает все, чтобы уехать из этой страны.

В те времена такое решение было Поступком с большой буквы: человек, принявший его, обрекал себя на бесчисленные муки и унижения; у некоторых, так называемых отказников, они могли длиться годами, и все претенденты на выезд знали, что и они могут по таинственным причинам попасть в эту категорию. На самом деле никакой тайны тут не было; была здесь мудрая политика КПСС, направленная на запугивание евреев, желавших уехать, чтобы они тысячу раз подумали, прежде чем подать заявление на выезд – ведь люди, действительно посвященные в «государственные тайны», а тем более их создающие, пользовались такими льготами, правами и привилегиями, как если бы жили при коммунизме, и потому ни о каком отъезде и не помышляли. Для простых же смертных подача заявления означала потерю средств к существованию, поскольку увольнение с работы следовало незамедлительно, и устроиться в другом месте было невозможно: любой отдел кадров возглавлял человек в штатском, количество и размер звезд на погонах висевшего в его шкафу мундира которого соответствовал степени важности для партии вверенного ему объекта. Так, на ЗИЛ или в аппарат Союза писателей СССР на работу принимали отставные генералы КГБ, в музыкальные училища и на текстильные фабрики – капитаны... Все они получали от своего ведомства «черные списки» людей, которых принимать на работу было запрещено, и особый цинизм заключался в том, что эти люди целиком попадали в зависимость от государства: в Уголовном кодексе была тогда статья о тунеядстве, по которой можно было посадить любого, не работавшего более трех месяцев! Такая участь постигла, например, будущего лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

И все же, хорошо зная о мытарствах, которые нам предстоят, мы подали заявление на выезд. Яшу моментально уволили из театра, а меня – из ателье «Люкс». Я-то от этого не очень страдала, так как, будучи мод-

ной портнихой, имела достаточно частных заказов, работала на дому и начала вплотную учить английский, а вот Яше пришлось крепко призадуматься, что же делать дальше. Мы посетили знакомых, которые вот-вот должны были уехать, чтобы навести справки и получить полезные практические советы. Их почти пустая, разоренная квартира производила впечатление удручающее. Выслушав наши по-детски наивные вопросы и далекие от реальности планы, они однозначно сказали, что к отъезду мы еще морально не готовы, упомянув при этом и о некоем негласном возрастном цензе при приеме на работу в западные оркестры. И тогда никогда не унывающий Яша, возраст которого перевалил за «критический», и не умеющий в жизни ничего, кроме блестящей игры на скрипке, решил попробовать себя в новом амплуа – в качестве ресторанный музыканта! Помимо ежедневного заработка он, всю жизнь игравший только классику и только по нотам, хотел научиться импровизировать, и на всякий случай освоить ресторанный репертуар, чтобы его скрипка кормила семью, даже если ему откажут в приеме в оркестр.

Ресторан, в который ему удалось устроиться на работу, назывался «Театральный», и был настоящим «злачным местом», так как являлся традиционным сборным пунктом профессиональных картежников, крупных валютчиков, проституток с Соборной площади, а также барыг и аферистов всех мастей. Поскольку с момента, когда мы стали вместе, Яша ни разу не взмахнул смычком без того, что я не стояла бы за его спиной, каждый день я приходила туда для моральной поддержки своего мужа, всю жизнь в чопорном фраке игравшего Моцарта и Чайковского, а теперь залихватски наявивающего «Мясоедовскую». И каждый день я наблюдала экзотические картинки: каких-то мужчин явно не с Кавказа и не из Средней Азии, но почему-то тем не менее в меховых шапках в разгар одесского лета, пьяные разборки, и постоянные массовые драки вполне в стиле плохих югославских вестернов, во время одной из которых один из конфликтующих на моих глазах воткнул другому по самую рукоятку вилку в зад, что меня, как особу возвышенную и тонко чувствующую, с эстетической точки зрения несколько покорило...

Яша же только смеялся – он чувствовал себя и здесь даже, кажется, как рыба в воде. Для здешней специфической публики и репертуар должен был быть особым; репертуар этот ограничивался исключительно произведениями, запрещенными к публичному исполнению в предприятиях общественного питания Управлением культуры. Круг этих произведений был, впрочем, довольно широк. Поэтому, когда ансамбль вдохновенно играл «Мурку», «Семь-сорок» или «Окурочек», на улице перед входом выставлялся часовой из добровольцев или, чаще, из «ше-

стерок» паханов, который зорко следил, не идет ли инспектор вышеупомянутого Управления, чтобы в случае чего своевременно дать сигнал к исполнению менюэта Боккерини.

Наша некогда уютная квартира, любовно, до мелочей обихоженная моими руками, превратилась к тому времени в некое подобие лавки старьевщика, где все продавалось и все покупалось; случались также и натуральные обмены. Существовал список предметов, запрещенных к вывозу из СССР; а то, что вывозить разрешалось, должно было иметь оценочную стоимость, с которой государство взымало пошлину. На вывоз всего, что хоть как-то напоминало предметы искусства и старины, требовалось разрешение, дававшееся экспертами музея, и без взяток тут было, конечно, не обойтись. У нас постоянно толклись знакомые, полузнакомые и вовсе не знакомые люди, после яростной торговли покупавшие то, что увезти было явно нельзя; другие, приносявшие и предлагавшие что-то ценное, но маленькое, на вывоз чего была надежда получить разрешение; внезапно вваливались какие-то грузчики, чтобы вывезти проданную мебель... Яша вставал ни свет ни заря, чтобы бежать отмечаться в ОВИР. Меня он от этого сомнительного удовольствия старался избавить, но однажды я все же из любопытства пошла вместе с ним – и не пожалела.

Здание ОВИРа уже несколько месяцев находилось в ремонте, и переклички, собрания и оглашения списков происходили поэтому во дворе. Был канун Октябрьских праздников. Перед входом собралась толпа ожидающих разрешения на выезд – небольшая, человек в двести. Должна сказать, что таких евреев я еще в жизни своей не видывала, и начала даже невольно ощущать чувство благодарности судьбе за принадлежность к своему маленькому, но гордому народу. Тут и там в толпе выделялись сыны Давида, всем своим видом полностью опровергавшие расхожие стереотипы о том, как должен выглядеть типичный затюканный представитель избранного народа: это были здоровенные амбалы под два метра ростом, с накачанными бицепсами и наколками на волосатых руках; вместо мировой еврейской скорби в их взглядах читалась яростная решимость идти до конца в борьбе за свои права.

– Граждане советские евреи! Прежде, чем огласить список фамилий отъезжающих, которым разрешен выезд в Государство Израиль, позвольте мне поздравить всех вас с наступающей годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ведь этот светлый праздник вам не придется уже встречать никогда!

– Ладно, тебя тоже с новой звездочкой! Завязывай уже праздновать... Не тяни, читай давай! – раздалось в ответ. Служащий ОВИРа извлек из кармана блокнот и начал читать:

– Бренер Мордехай Борухович. Кацнельсон Арон Лейбович. Пицек Сруль Шампонович.

Наконец мы услышали: «Лихтман Борис Яковлевич. Лихтман Регина Вениаминовна. Лихтман Яков Борисович.» Великая страна наконец отпускала нас.

(Продолжение в следующих выпусках альманаха «До и после»)

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

Из записок «Мой взгляд в искусство **ВИДЕНИИ**»**«БЕЗЗАБОТНЫЙ ВЕРЛИБР»**

ЭССЕ О СВОБОДНЫХ СТИХАХ

Верлибр (франц. vers libre), нерифмов .стихи, расчленённые на стихотв. строки, но не обладающие пост. признаками их соразмерности. В новоевроп. поэзии употребителен с кон. 18 в., широко – с нач. 20 в. В русской поэзии разработан меньше. (Из энциклопедического словаря)

«*Стихи* – мерная, ритмически организованная, обычно рифмованная речь... *Белые стихи* – ритмически организованная, но нерифмованная речь». Так сказано в академическом Словаре современного русского литературного языка, изданного в пятидесятые годы двадцатого века. Но ещё до той поры стих всё более «освобождался» не только от рифмы, но и от метрики, от ритма.

В своих старых записях нашла я отрывки из стихотворения Зинаиды Гиппиус «Свободный стих». Его строки, словно бичи, впиваются в «узор пятнисто-прихотливый икающих и пьяных слов» свободного стиха: «Приманной лёгкостью играя, / Зовёт, влечёт свободный стих / И соблазнил он, соблазняя / Ленивых, малых и простых. / Сулит он быстрые ответы / И достиженья без борьбы. / За мной! За мной! И вот поэты – / Стиха свободного рабы».

Вспоминаю, что была поражена этими убийственными строками. Сама я не столь категорична, хотя бы из любви к слову «свободный». Раньше я вообще считала, что это слово в литературе означает «не цензурный». Об этом – моё стихотворение 1985 года:

Мне думалось, что «стих свободный» –
свободен от оков цензуры,
что волен он, пусть неугодный
для власти холодно-жестокой,
парить в надмирности высокой.

Но не цензура, а *цезуры*
ему не создают оков,
и *ритмы строгие* веков
над прихотьёго не властны.
Поэт встаёт на путь опасный –

он *рифм* не ищет... Волен он,
презрев *гармонии закон*,
нанизывать слова бездумно,
бессмысленно, почти безумно...
Конец поэзии прекрасной?

Илья Эренбург в «Портретах русских поэтов» утверждает: «Стремление человека передать свои думы в правильно-законченных ритмических строфах есть тоска по гармонии. Стих – гармония». О Соллогубе он говорит, что тот «познал высшую тайну поэзии – ... трепет ритма». В 1921 году, в статье «О некоторых признаках расцвета Российской поэзии» он пишет: «...Так называемый ‘свободный стих’ в стихосложении..., счастливо убив некоторые условности, не создал ничего положительного».

В древности чтили поэтов, считая, что они привносят в мир *гармонию*. «Тоска по гармонии» никогда не исчезает. Разрушение гармонии увеличивает страдание. Ритм – неотъемлемая составляющая гармонии.

В философском труде Я.Ф. Аскина «Проблема времени. Её философское обоснование» сказано, что «ритмичность является свойством всей природы ... на всех её уровнях». Высказана мысль «об организующей роли ритма, согласующей отдельные части в единое целое процесса»; указано, что «ритмичность оказывает важное регулирующее воздействие на ход процессов..., на согласование частей и целого». При этом, «может быть и пространственный ритм, как характеристика ... пространственной структуры».

Казалось бы, причём здесь «процессы», когда речь идёт о стихах. Но для меня настоящее стихотворение – именно процесс, и ритмы определяют его пространственную и динамическую структуры и объединяют их в единое гармоническое целое, так же, как это происходит в музыке. *После-*

довательный процесс возникает каждый раз при чтении стихотворения или исполнении музыкального произведения. Замечу, что в архитектуре тоже есть ритмы, определяющие гармоничность строений, но нет «течения процесса». Недаром архитектуру называют «застывшей музыкой».

Понимаю, почему сейчас мне пришло на ум собственное стихотворение «Берлинской земли колдовство». Заканчивается оно так:

*Ритмичная строгость колонн,
озёр беззаботный верлибр...
Душа моя взята в полон,
колдует над нею Берлин.*

Здесь есть сочетание *явного ритма* застывшей музыки архитектуры *со свободным* от внешних проявлений ритмичности своеобразием природных водоёмов. Но – лишь «от внешних проявлений». На самом деле, ритмичность присуща всей природе, к примеру – береговой линии тех же озёр, как это обнаруживает более глубокий анализ с помощью фрактальной геометрии. Но не стану «поверять алгеброй гармонию», хотя порой это было бы чрезвычайно полезно для некоторых стихослагателей.

* * *

Мне кажется, что *свободный стих неорганичен поэзии*, творимой *на русском языке*, как ни странно, именно *в силу свободы этого языка*. Предлагаю возможность изменять порядок слов в предложении, пользоваться сочетаниями разных частей речи для получения рифм, разрешая и другие «вольности», русский язык являет для поэта плодородное поле, свободное от «камней» – грамматических и фонетических препятствий иных языков. На таком поле можно выращивать многообразные, яркие поэтические творения, построенные по законам гармонии.

Надо ли отказываться от этих щедрот ради обделённого гармонией верлибра? Некоторые поступают так, утверждая, что гармоничный стих устарел, что «на Западе так уже не пишут». Но погоня за модой в литературе, особенно в поэзии, приводит к эпигонству ещё чаще, чем в «высокой моде»: модельеров тысячи, а настоящих Мастеров – единицы...

ДОПОЛНЕНИЕ К ЭССЕ

На мой взгляд, не только особенности европейских языков, но и их смешение в драматических судьбах многих западных авторов, привели к распространению верлибра. Для примера приведу известную в Германии поэтессу Розу Ауслендер, родившуюся в 1901 в Черновцах. Ду-

маю, что девочка говорила на идиш, затем по-немецки. После Первой мировой войны жила в Вене, затем училась литературе и философии в Черновцах. С 1921 по 1929 находится в США и пишет только по-английски. Высленная обратно в Европу, пережившая на родине нацистское гетто, в 1946 вновь уезжает в США. С 1965 живёт в ФРГ, в Дюссельдорфе. Вернувшись к немецкому языку, поэтесса отказывается в стихах от рифмы и ритма, передавая в этой новой форме свой опыт времён гетто – преследований и смертельного страха. С 1972, даже прикованная тяжёлой болезнью к постели в доме для престарелых еврейской общины, публикует более тридцати сборников и получает много литературных премий. Умерла она в 1988.

Вот один из её сборников: *Rose Ausländer „Die Musik ist zerbrochen“*. В книге представлены стихи периода 1957 – 1963. Название дано по стихотворению, помещённому на задней стороне обложки. Я выбрала его и ещё два других, тематически относящихся к литературе и искусству, с тем, чтобы, сделав дословный перевод с немецкого, с сохранением вида заголовков и расположения слов и строк, попытаться лучше понять авторский замысел.

Музыка сломлена

В холодные ночи обитаем мы
с кротами и ежами
в чреве земли

В жаркие ночи
зарываемся мы глубже
в кровепоток воды

Здесь мы зацементированы между корнями
там между зубами акул

На небе не лучше
разногласия расстраивают
орган воздуха
музыка сломлена

Картины

«Не делай себе никакого изображения»

Через картины проходят
всегда

заключённые изображения
в музейных клетках
вечные глаза
ландшафты
за расписными красками

Цвет в ткани картины
ты –
здесь и на заднем плане
Кристаллы из воздуха
растворяют
удваивая
смотри в зеркало
делай себе изображение
кто ты есть
здесь и
на заднем плане

Компьютерная лирика

Лирика
встряхивает слова
в калейдоскопе

Из мозга-автомата
пробивается поэма
буква в букву

Случайные метафоры
жутковатая
Костне-
Гёльдерлинова
канитель

Три слова
полдюжины стихов
в часовом механизме
каждое
показывает время

Слоги-солдаты
убивают
любовь
к Слову и
словесному поединку.

Лирика
до чего же
это дошло

Итак – сломленная музыка, растворённые изображения, словно заключённые в клетках, механическая лирика, убивающая любовь к Слову. Удручающее состояние литературы и искусства, заставляющее воскликнуть: «До чего же это дошло!» Возможно, избранная автором форма соответствует такому содержанию. Но уместно ли в поэзии «выбивать клин клином», усугубляя хаос, вместо внесения целительной гармонии?

МАРК ШЕЙНБАУМ

ЛЬВОВСКАЯ ГАЗЕТА «ХВИЛЯ» И СИЛУЭТЫ ЕЁ АВТОРОВ

В 2002 г. в Берлине был издан сборник стихов узников гетто и концлагерей «Скрипач из гетто». Стихотворение «Белжец» в нём принадлежит перу Янины Хешелес (Янки), девочке, которой удался побег из Львовского гетто. Вскоре после войны в Кракове вышла её книга «Глазами двенадцатилетней». Впоследствии Янка жила в Хайфе, стала известным художником. Заинтересовавшись её судьбой и судьбой её семьи, я набрёл на след издававшейся до войны во Львове на польском языке газеты «Chwila» («Хвиля» – «Момент»), редактором которой в течение 20 лет был отец Янки Генрих Хешелес.

Вряд ли можно где-либо найти более достоверные свидетельства о прошлой жизни любого местечка, города, страны, чем те, которые открываются, на пожелтевших страницах, этой газеты. Причём направленность, партийная принадлежность её имеют в этом случае лишь второстепенное значение, поскольку история уже внесла свои поправки в то, что на этих страницах излагалось. Остаются человеческие характеры, бытовые подробности, местный юмор, в той или иной мере импонирующий нам сегодня. Остаются лишь «дух времени» и «характер города». За всем этим можно разглядеть и силуэты журналистов, которые эту газету делали.

Для евреев Львова независимость Польши началась в ноябре 1918 года с погрома, который длился 3 дня и унёс по одним сведениям 74, по другим – 150 жизней.

Вслед за погромом, с явным опозданием, был создан «Еврейский комитет спасения». На его основе возник «Еврейский народный совет», который позаботился о собственном печатном органе. Так увидела свет газета львовских евреев на польском языке «Chwila». Её редакция располагалась неподалёку от еврейского квартала. Здесь в течение почти 20 лет стоял устойчивый запах кофе и папиросного дыма, встречались

журналисты, обсуждались события в городе, стране, мире, шла дискуссия о содержании завтрашнего номера. Направленность газеты была в первую очередь сионистской. Одновременно газета поддерживала всё то, что было в городе и стране демократичного, прогрессивного. Зачастую, выступления «Хвили» звучали в унисон с демократичным «Львовским курьером», редактируемым украинским писателем Иваном Франко и польским журналистом демократом Болеславом Вислоухом. Тон, который избрала «Хвиля» в дискуссиях, не позволял ей соскользнуть на уровень примитивного национализма даже в ответ на антисемитские атаки. Это в значительной степени и определило её высокий авторитет.

«Хвиля» была не первым печатным периодическим изданием евреев Львова. Издания такого рода появлялись ещё в начале 19 века и выходили как на польском, так и на идише и иврите.

Первый номер «Хвили» вышел 10 января 1919 года, последний – в сентябре 1939. Инициатором газеты был известный львовский адвокат и общественный деятель Гершон Циппер, сионист по убеждениям. Несмотря на то, что болезнь (далеко зашедший туберкулёз лёгких) доминировала над ним всё сильнее, он со всей присущей ему энергией боролся за существование газеты в условиях, когда не хватало средств и казалось, что выход её вот-вот будет приостановлен. Порой, когда он не мог уже участвовать в заседаниях редакционной коллегии, журналисты доставляли ему материалы очередного номера на дом.

Циппер умер в 1921 году в возрасте 53 лет. С 1920 по 1939 год редактором «Хвили» был Генрих Хешелес. Многие упрекали его в склонности к космополитизму. В те времена это понятие не носило отрицательного или антисемитского характера, который ему придали в СССР позже. Польский литературовед и писатель Станислав Винценц как-то спросил Генриха, как он представляет себе продолжение его увлечённости творчеством Выспяньского (польский поэт и драматург XIX века) после того, как он сам окажется в Палестине. Хешелес, не задумываясь, ответил: «Сделаю его еврейским классиком, переведу его «Свадьбу» на иврит, опубликую и поставлю в тамошнем театре. Успех гарантирую».

Хешелес в своих выступлениях на страницах «Хвили» настаивал на том, что польское государство должно быть заинтересовано в еврейской эмиграции в Палестину и поддерживать её материально. Это в какой-то степени снизит уровень безработицы в местечках Польши. «Хвиля» пропагандировала опыт сельскохозяйственных еврейских школ, готовивших кадры для кибуцев в Палестине. Друзья Генриха подшучивали над ним, что в этом вопросе он найдёт поддержку у любого антисемита, ведь он ратует за массовую эмиграцию евреев из Польши. Как редактор он был мягким, толерантным, успешно работал с авторами, чему способ-

ствовала его всесторонняя эрудиция. Генрих Хешелес погиб во Львовском гетто в 1942 году.

Одним из направлений работы редакции была благотворительная деятельность.

Газета организовывала сбор средств для беднейших еврейских семей, для домов сирот и престарелых. На страницах газеты постоянно сообщалось о взносах в фонды помощи малообеспеченным семьям во Львове и в фонд покупки земель в Палестине. В газете существовала колонка «Палестинский информатор», где ежедневно печатались сообщения о событиях в «Земле обетованной» печатались репортажи из кибуцев, сводки о боях с арабами, которые там не затихали.

В «Хвиле» часто появлялись статьи ведущего еврейского историка Польши Майера Балабана. Они касались истории Львовских евреев (она простирается вглубь веков, вплоть до XIII века) и ратовали за сохранение памятников еврейской культуры.

В частности, он поднимал вопрос о реставрации стариинного еврейского львовского кладбища, самого древнего в восточной Европе. Старейшее захоронение на этом кладбище датировано 1348 годом. В его статье «Забывтый памятник», опубликованной в «Хвиле» в 1920 году говорится: «Если неумолимое время и далее будет исполнять свою разрушительную работу, то наши внуки даже не узнают, на каком месте покоился прах их предков в течение двенадцати поколений».

Майер Балабан погиб в Варшавском гетто в 1942 году. Максимилян (Мордахай) Гольдштейн в межвоенный период, своей деятельностью оказывал большое влияние на культурную жизнь львовских евреев, и не только евреев. Искусствовед по профессии, человек широкой эрудиции, выдающийся коллекционер, он на страницах «Хвиле» также отстаивал сохранность памятников: «Историкам и любителям искусства известно, какие сокровища заключают в себе еврейские надгробные плиты. Резьба и надписи на них – образцы еврейского народного искусства, являющиеся для художника источником вдохновения и наследования» – писал он. Усилия Балабана и Гольдштейна и многочисленных их соратников, выступавших на страницах «Хвиле», увенчались успехом. Только в течение 1927 года на древнем львовском кладбище было восстановлено 523 надгробия и изготовлен специальный альбом с 44-мя видами кладбища, дающими возможность обозрения одних и тех же групп захоронений под разными ракурсами. (Хранится в собраниях Украинского национального музея во Львове). В труде Якова Бердичевского «Народ книги», изданном в 2005 году в Берлине, много внимания уделено деятельности Максимильяна Гольдштейна. Как пишет Бердичевский, Гольдштейн вплоть до второй мировой войны собирал еврейскую старину. В 1934

году им был открыт Ерейский музей при Львовской религиозной общине. Музею была передана вся его коллекция, включая уникальную библиотеку со многими редкостями – от еврейских инкунабул до старинных рукописей.

Максимилиан Гольдштейн в дни фашистской оккупации выполнял обязанности хранителя собрания музея этнографии и художественных промыслов, и примерно до осени 1942 года пользовался у оккупантов статусом квалифицированного специалиста, другими словами – «полезного еврея». Холокост, однако, пережила в запасниках (и то частично) лишь его коллекция, владелец её погиб в гетто.

По некоторым сведениям в «Хвиле» было опубликовано несколько статей (темы их не упоминаются) писателя и художника, уроженца близлежащего Дрогобыча, Бруно Шульца. Он погиб от руки эсесовца на одной из улиц родного города в 1942 году. Это имя в последние годы всё больше набирает популярность. В разных странах существуют целые школы шульцеведов. К сожалению, его литературное наследие весьма скромно по объёму.

Писал для этой газеты и один из самых известных литературных критиков Польши – Остап Ортвин (подлинное имя Оскар Кацнеллебоген). Того немногого, что было опубликовано из его работ, хватало, чтобы создать ему беспрекословный авторитет в литературной критике довоенной Польши. Он был выдающимся во всём, начиная с запоминающейся внешности и весьма оригинального построения своих блестящих по стилю критических статей. С 1934 года Ортвин был председателем Союза львовских писателей. Евреям такая честь выпадала не часто. Он был убит эсесовцем на одной из улиц Львова весной 1942 года.

И ещё один известный литературный критик выступал на страницах «Хвили». Речь идёт об уроженце близлежащего местечка Самбор, выпускнике Львовского университета Артуре Сандауэре. Во время немецкой оккупации он бежал из концлагеря, скрывался, затем в 1944-1945 году воевал в составе Войска Польского, был военным корреспондентом. После войны он много лет заведовал кафедрой польской литературы Варшавского университета. Всеми способами боролся против проникновения в польскую литературу «Социалистического реализма», диссидентствовал. Его стараниями в послевоенной Польше стали издавать произведения Бруно Шульца.

Некоторое время в разделе юмора «Хвили» появлялись произведения одного из самых известных в польше сатириков Мариана Хемара. Хемар – это псевдоним Мариана Хешелеса – родного брата главного редактора газеты. Одна из сочинённых им песенок для кабаре называлась «Ах, эти усики, эти усики». Ходили слухи, что из-за этой песенки

Адольф Гитлер дал в начале войны с Польшей особое задание гестапо найти автора. Хемар в сентябре 1939 через Румынию и Францию бежал в Лондон. Здесь работал на радио Би-Би-Си, затем «Свободная Европа», умер в Лондоне в 1972 году.

«Хвила» предоставляла свои страницы и журналистам – полякам. Кроме уже упомянутого выше Станислава Винченца, на её страницах выступал со статьями доктор теологии, этнограф Пётр Контный. Его статьи касались чего угодно, только не вопросов веры. Среди прочего, газета опубликовала серию его статей о местечке Сасово под Золочевым (сегодня это Львовская область). Статьи печатались под заголовком «Серебряные цветы», а речь в них шла о художественном промысле евреев – жителей этого местечка. Здесь изготавливались декоративные ткани, украшенные типичным еврейским рисунком. Контный не ограничился статьями в газете. Он привёз образцы этих тканей во Львов и устроил их выставку в Промышленном музее. Те, кто видел эту выставку, были поражены красотой этих изделий и, контрастирующими с ними, примитивными ткацкими станками, на которых они были изготовлены. Станки эти тоже экспонировались. Это было редким представлением широкой публике еврейских народных художественных промыслов. «Атуры» – цветы, вытканые серебряными нитками «расцветали» под руками умельцев. Изделия эти шли на изготовление сумок для молитвенных талесов и «одеяний» торы. Сасовские мастера прозябали в нищете. Журналисты «Хвили» пытались помочь этим людям. Им удалось организовать экспорт их изделий во Францию и другие европейские страны.

В местечке Сасово доктор Контный познакомился с поэтом Нухимом Бомсе.

Бомсе, поэт до этого неизвестный в литературных кругах, писал на идиш. Контный ввёл его в среду львовских литераторов и опубликовал статью о его творчестве в «Хвиле». Стихи этого поэта обладали ярким своеобразием. Их оценили по достоинству. Существуют переводы этих стихов на польский язык, выполненные рядом выдающихся польских поэтов, в том числе будущим лауреатом Нобелевской премии поэтом Чеславом Милошем. (Милош знал и идиш, и иврит). 50-летняя история львовских еврейских театров была изложена в нескольких номерах газеты в 1936 году. Автор – Леон Вайншток. Театральные рецензии, как и книжные обозрения, печатались регулярно. Существовал и раздел музыкальной жизни (Альфред Плон), шахматный уголок.

Ещё одна яркая личность среди сотрудников редакции «Хвили» – Иосиф Майен.

В 1934 году на протяжении нескольких недель газета публиковала его своеобразное исследование о феномене Львовских кафе. Как писал

об этом Майен, за все гдатаи кафе были в них парламентом, при котором владелец кафе выполнял роль подчинённого ему премьер-министра. Гиза Фраенкова была автором ряда очерков об истории львовского трамвая, одного из старейших в Европе. Её труд был не лишён юмора. Впрочем, и сегодня свою нелёгкую работу кондукторши львовских трамваев сопровождают беззлобными шутками, особую пикантность которым придаёт неподражаемый львовский диалект.

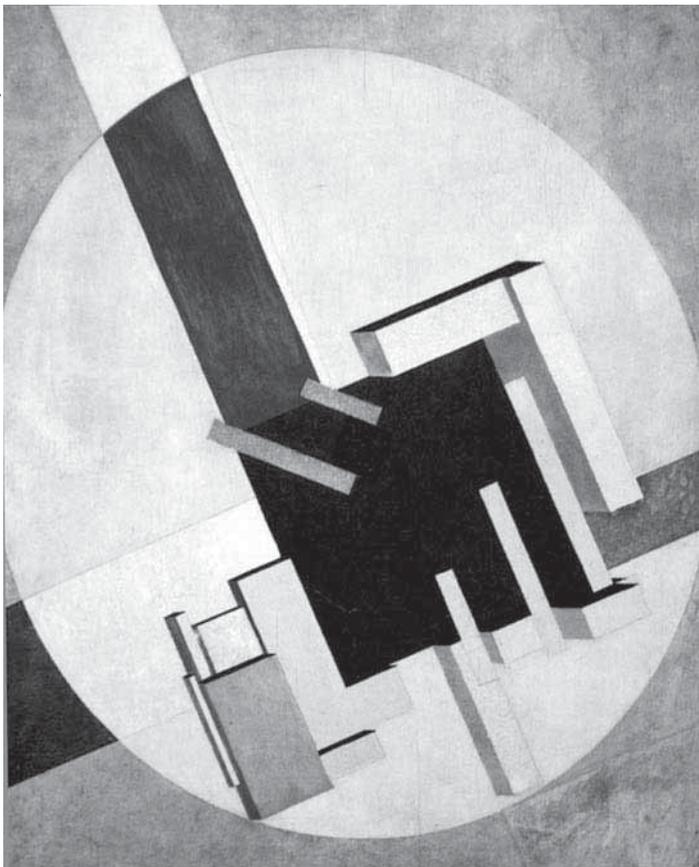
«Хвиля» имела красочное приложение для детей – «Хвилька». Его редактировала Руна Рейтманова, выпускница Львовского университета, всю свою жизнь посвятившая детям. Её стараниями во Львове открывались детские дома, интернаты, школы. Приложение для детей отличалось разнообразием тематики, яркостью оформления. Юные читатели широко привлекались в качестве авторов текстов и художников этого приложения. Судьба Руны неизвестна. После войны о ней не слышали.

Постоянно печатались статьи выдающегося сионистского деятеля, писателя Эрциэля Карлебаха, впоследствии главного редактора влиятельной израильской газеты «Маарив».

На страницах Хвили часто появлялись афоризмы и стихи «короля афористики» львовянина Станислава Ежи Леца, печатались произведения выдающегося писателя Иозефа Виттлина. Читателей знакомили с переводами с иностранных языков. В первую очередь с немецкого, на котором писали многие писатели евреи (Иозеф Рот, Манес Шпербер, Карл Краус) Печатались переводы с идиш и иврита произведений Шолема Аша, Хаима Нахмана Бялика, братьев Израила и Исаака Башевиса Зингеров. Список тех, чьи произведения появлялись на страницах «Хвили», длинен. Многие из них стали жертвами Холокоста, не надолго пережив саму газету. Её закрыли советские чиновники сразу после своего появления во Львове в сентябре 1939-го.

По некоторым данным в довоенной Польше евреи издавали 160 газет и журналов общим тиражом около миллиона экземпляров. Число это кажется преуменьшенным. Автору настоящей статьи известны небольшие польские городишки, где одновременно выходили две, а то и три еврейские газеты на польском и идише. Попытка разыскать их в сохранившихся архивах, могла бы открыть много интересного. Ведь там хранится ценнейший материал для историков и литераторов. Там, видимо, можно отыскать неизвестные шедевры на исчезающем языке идиш, там хранится память об отцах и дедах.

Новые переводы



До и После

КАРЛ АБРАГАМ



Елизавета Дмитриева

Иоганнес фон Гюнтер (1886–1973) – немецкий поэт, драматург и переводчик. Родился в Митаве (ныне Елгава, Латвия) С 1909 по 1913 г.г. – заведующий немецкой редакцией литературно-художественного журнала «Аполлон», в Санкт-Петербурге. В 1914 г. Гюнтер навсегда уезжает в Германию, где занимается переводами произведений русской классики.

В 1969 г. Гюнтер опубликовал книгу воспоминаний «На восточном ветру», в которой рассказал о встречах, дружбе и сотрудничестве со многими видными деятелями русского «Серебряного века». Мы публикуем, впервые предпринятый, перевод с немецкого фрагментов из этой книги.

Редакция альманаха.

ИОГАННЕС фон ГЮНТЕР

ЗАГАДКА ЧЕРУБИНЫ ДЕ ГАБРИАК

(отрывки из книги «На восточном ветру»)

Эту историю я должен изложить во всех подробностях, будучи, вероятно, единственным оставшимся в живых свидетелем, способным правдиво рассказать об одной из загадок русской литературы первого десятилетия XX века.

Температурная кривая этой по сей день не забытой сенсации, вычерчена некоторыми авторами не достаточно корректно. Тому причиной были мотивы личного порядка. Я имею в виду, прежде всего, моего друга С. Маковского¹, который в своих воспоминаниях, излагая эту историю, был не

совсем точен, испытывая, по-видимому, чувство неловкости за своё неадекватное отношение к тем событиям, участником которых он был.

Кроме этого, мне кажется, что эта единственная в своём роде история довольно симптоматична для своего времени, хотя, должен заметить, что подобные мистификации и раньше имели место. То время было отмечено печатью беззаботности и склонностью к духовному маскараду, являя собой великолепную питательную среду для ядовитых орхидей. Орхидей – людоедов.

Несколько месяцев тому назад некая дама, Черубина де Габриак, прислала на имя Маковского свои стихи, написанные на почтовой бумаге с траурной рамкой. Вся редакция читала эти стихи и отнеслась к ним с одобрением. Свой обратный адрес дама не указала. Через некоторое время она прислала второе письмо со стихами, которые оказались ещё лучше первых. И снова без обратного адреса. Третье письмо, за которым последовал звонок в редакцию. Чарующий алыт, временами слегка шепелявый. И снова письма, письма, письма. И бесконечные телефонные звонки. Представилась испанской аристократкой, одинокой и нежной жизнелюбкой; отец – строгий иезуит, исповедник, мать – рано умерла. Маковский был по уши влюблён в неё. Его чувства разделяли барон Врангель², Зноско³ и Ауслендер⁴. Гумилёв бредил экзотичной красавицей и клялся, что добьётся её расположения. Каждый, кто заговаривал о ней, молился на незнакомку. Её стихи были действительно завораживающими, и каждый мужчина должен был испытывать сочувствие к этой печальной, одинокой женщине. Вся редакция сгорала от страстного желания встречи с этим сказочным существом. Она обладала голосом, который волновал и проникал в самое сердце. Там, где собиралось трое, говорили только о ней.

Мне рассказали о ней уже в первый день моего появления в редакции. Строфы, которые мне читали, отличались редким траурным настроением и трогали душу. Скрытая, сдерживаемая страсть и нарастающая тоска. Русские стихи огромного, почти артистического совершенства. В действительности, это так и было. Любая попытка – а таких было много – как-то связаться с ней не имели успеха. Она отклоняла все предложения о встрече. Испытывая острую необходимость выговориться, она, несмотря на свою замкнутость, часто звонила редактору нашего журнала. Все завидовали Маковскому. Конечно, находились и такие, которые открыто высмеивали влюблённую редакцию. Однако, следует признать, что коллективная влюблённость заразительна. Не долго, но и я относил себя к рыцарям очаровательной Черубины.

Однажды, после обеда, я вновь посетил Вячеслава⁵ в его квартире на Таврической. И оказался единственным мужчиной в обществе женщин.

Вера⁶, падчерица Вячеслава, превратившаяся в красивую женщину с пепельными волосами, пригласила дам к чаю. Там присутствовала Анастасия Николаевна Чеботаревская, жена Сологуба – весьма своеобразная, чопорная дама, поглощённая книжными интересами, со слегка аффектированной манерой речи. При всём при том, вероятно, прекрасная супруга. Я встретил там Любу Блок – вполне зрелую, уверенную в себе женщину. Она приветствовала меня как старого доброго знакомого. Там же оказалась обаятельная художница – Лидия Павловна Брюллова, внучка великого художника, полотнами которого восхищался Пушкин. Маленькая, грациозная, прекрасно сложенная женщина с чёрно-коричневыми бровями и волнующим взглядом синих глаз также сочиняла стихи. Кроме этого там была поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева. Она отпускала колкие замечания в адрес загадочной Черубины де Габриак. Говорила, что та, наверняка, ужасно некрасива, иначе бы она уже давно встретила со своими воздыхателями. Присутствующие дамы соглашались с ней. Меня как «Аполлонца» также попросили высказать своё мнение по этому поводу. Но я воздержался и предпочёл занять позицию строгого нейтралитета. Тем более, что всё моё внимание было приковано к Брюлловой.

Дмитриева читала стихи, которые действительно показались мне весьма талантливыми. Я сказал ей об этом. И когда Люба рассказала ей о моих переводах Блока на немецкий язык, упомянув, что я имею значительный опыт в переводе русской поэзии, она встрепенулась, проявила ко мне повышенный интерес и прочитала ещё несколько изящных строф, написанных в манере символистов. Было что-то особенное в этой поэзии, и я спросил, почему она до сих пор не прислала свои стихи в наш журнал. На что последовало, что её хороший знакомый, господин Волошин, сам обещался всё устроить. Так как она была приятельницей очаровательной Брюлловой, то я не скупился на комплименты. В ответ на это Брюллова пригласила меня в гости, чтобы подруга её имела возможность прочесть и другие свои стихи. Хозяйка дала мне свой адрес и номер телефона. Я вдруг почувствовал, что достаточно долго нахожусь в обществе дам, и поднялся, чтобы уйти. Моему примеру последовала и госпожа Дмитриева. По петербургскому обычаю я должен был проводить девушку домой. Елизавета Ивановна тут же приняла моё предложение.

Она была чуть ниже среднего роста, склонная к полноте и, тем не менее, изящна и хорошо сложена. В России часто можно встретить такой тип женщин. У неё, не по росту, крупная голова, темно-коричневые волосы, отливающие красным цветом, бледное, чуть желтоватое лицо, несоразмерно большой круглый лоб, из-под которого смотрят тёмнока-

рие печальные глаза. Несмотря на это, она могла быть весёлой и остроумной. Рот чуть великоват, зубы выступают вперёд, но губы её были полными, красными и красивыми. Круглый подбородок был несколько широковат. Зато голова держалась на тонкой и длинной шее. Круглые плечи её и чрезмерно выпирающий бюст придавали верхней части туловища некую бесформенность. Этот недостаток был связан, вероятно, с неудачно подобранной одеждой. Она преподавала русский язык в женской гимназии и зарабатывала, надо полагать, не так много, чтобы позволить себе более элегантный гардероб.

Нет, красивой она не была, зато очень привлекательной. Флюиды, которые от неё исходили, позволили бы о ней сегодня судить, как о женщине сексапильной. Такое впечатление оставлял мимолётный взгляд, едва заметно вибрирующие крылья носа, медленное покачивание плеч и, прежде всего, голос. Её нельзя было не заметить.

Мы, молча, спустились по лестнице. Мой старый приятель, швейцар Павел, позаботился об извозчике. Когда мы подъехали к её дому, и я помог ей выйти из экипажа, она вдруг попросила ещё немного погулять с ней. Так как я намеревался познакомиться поближе с её подругой, я согласился. Мы отпустили извозчика, и я спросил, куда бы она хотела пойти.

– Куда хотите!

К моему удивлению я вдруг заметил в ней нерешительность. «С богом!» – подумал я, хотя вовсе не хотел гулять. Стоял прохладный октябрьский вечер. В некоторых кварталах Петербурга фонари горели весьма тускло. Здесь освещение тоже оставляло желать лучшего. Прогулка затянулась.

Она поведала мне о своей жизни, но я так и не понял зачем. Рассказала, что жила довольно долго в уютном доме Максимилиана Волошина в Крыму. Ага, подумал я, наверняка она была любовницей Макса. Я позволил себе несколько ироничных замечаний по поводу увлечения Волошиным антропософской теории Рудольфа Штейнера, что учение его интересует, прежде всего, пожилых и состоятельных дам. Это моё замечание она оставила без внимания и продолжила свою исповедь. Летом она познакомилась у Волошина с поэтом Гумилёвым. В её голосе при этом можно было слышать жалобу. Я насторожился. Значит, и с Гумилёвым у неё что-то было. Оказалось, что госпожа Дмитриева нравилась мужчинам. Это было неожиданно, хотя и вполне объяснимо.

Внезапно меня осенила мысль: «Она насмехается над Черубиной де Габриак только потому, что её друзья Макс и Гуми влюблены в эту испанку?» Она остановилась. К своему удивлению я обнаружил, что дыхание её участилось. Мимолётный взгляд необычайной силы: «Я могу Вам довериться?» Её вопрос я оставил без ответа. Она схватила меня за руку:

«Обещайте, что сохраните всё в тайне?» промолвила она, начав заикаться. Затем последовала пауза. В лучах матового освещения я обратил внимание, что она от волнения дрожит. Рука её была влажной; когда она наклонилась, я почувствовал её дыхание. «Я хочу Вам в чём-то признаться, но вы никогда об этом никому не скажете. Обещаете?»

В таких случаях обещание дают очень быстро. Возлюбленная Макса и Гуми, любопытство, сочувствие? Чего только не обещают.

Внезапно она подняла голову и посмотрела на меня в упор. «Я должна Вам сказать, что я... – Она замялась и вцепилась в мою руку ещё сильнее, – Вы единственный, которому я об этом говорю». Затем она отступила и откинула голову. Взгляд её на какое-то мгновение стал враждебным. И тут она почти выкрикнула: «Это я – Черубина де Габриак!» Она отпустила мою руку, внимательно посмотрела на меня и повторила, на сей раз тихо и нежно: «Я – Черубина де Габриак».

Я улыбнулся. Она на самом деле Черубина де Габриак, или только выдаёт себя за неё? Она та самая Черубина, в которую влюблены все без исключения новейшие русские поэты? Но этого не может быть. Возможно, она просто врёт, чтобы только обратить на себя внимание. Она отступила ещё на шаг: «Вы мне не верите? Иногда и щенки бывают безрассудными. Это, действительно, я. Хотите доказательств?» Я ответил холодной усмешкой. «Я смогу вам это доказать. Вы же знаете, что Черубина де Габриак ежедневно звонит в редакцию, чтобы поговорить с Сергеем Константиновичем».

– Об этом всякий знает.

– Я завтра позвоню ему и расспрошу о вас. Этого достаточно?

Я поднял руку в знак несогласия.

– Вы спросите обо мне, – произнёс я, заикаясь, – и как вы себе это представляете? Тогда мне придётся рассказать ему о нашем разговоре.

Немного подумав и успокоившись, она продолжила: «Я расспрошу Маковского о его иностранных сотрудниках. И когда он остановится на вашей фамилии, я опишу вашу внешность и спрошу, не тот ли это Пюнтер, которого я встретила три года тому назад на одном из вокзалов Германии».

Я подумал: «толково», и решил ей подыграть: «Скажите – два года тому назад. Это соответствует истине. В то время я действительно был в Баварии».

– Хорошо, два года тому назад. И это было между Мюнхеном и ...

– Между Мюнхеном и Штарнбергом.

– И если я скажу об этом Маковскому, вы поверите, что я Черубина де Габриак?

Она снова схватила мою руку и сдавила её до боли. Подсознательно

я тянул время. Grimаса исказила её и без того большой рот, резче обозначились выпирающие зубы, выражение лица стало зловещим: «Вы мне поверите тогда?» Она играла в безрассудную игру. Хотя вполне возможно, что это не было игрой. Нашла ли она убедительные слова для правды?

– Что ж, придётся вам поверить.

– И где мы встретимся после этого?

Я поразился её настойчивости.

– Когда вы намерены позвонить Сергею Константиновичу?

– Как всегда в пять.

– Хорошо, приходите ко мне домой около семи. Я живу в рижских меблированных комнатах на Невском проспекте. В ресторане нас могут подслушать. Дома нам никто не помешает. Скажите, вы действительно хотите позвонить Маковскому?

Она приблизилась ко мне почти вплотную: «Да, я хочу. Я хочу хоть раз поговорить с кем-то об этом. Я слишком долго говорила только сама с собой». Она отпустила мою руку и отвернулась. Я, молча, проводил её домой. Когда я по петербургскому обычаю поцеловал ей на прощание руку, она тихо сказала: «Вы обещали молчать. Бог покарает вас, если вы меня выдадите».

Звучало это театрально, но это не было наигранным. Она стояла на две ступеньки выше меня, и я хорошо рассмотрел её лицо. Лгунья так выглядеть не могла.

– Не знаю, право, зачем я вам... зачем я вам об этом рассказала, – тихо продолжила она, – наверное, я должна была это сделать. Завтра мне станет известно об этом. Я знаю, что вы меня не предадите. До завтра.

Она поднялась вверх по ступенькам и исчезла за дверью.

На следующий день в пять часов в редакции зазвонил телефон. Маковский в волнении поднял трубку. Это была она. Напряжённо прислушиваясь, мы смотрели в другую сторону, делая вид, что курим, листаем газеты или пьём чай. Через некоторое время я услышал, как Маковский перечисляет наших иностранных сотрудников. Он говорил тихо и быстро. Шла ли речь обо мне? Была ли это она? Выходит, Дмитриева и есть та самая Черубина де Габриак? Да, это была она. Минут через десять меня позвал Маковский: «Почему вы умолчали, что знакомы с Черубиной де Габриак?»

Соврать молодому человеку, как правило, ничего не стоит. Я начал изворачиваться. «Никогда не встречал,.. где? Между Мюнхеном и Штарнбергом? Помилуйте, пол Мюнхена ездит в Штарнберг купаться. Иногда приходится перекинуться с той или иной девушкой парой слов. С кем?.. С Черубиной де Габриак? Ни в коем разе. Я не мог знать, кто это был.

Барон Врангель и Маковский были разочарованы. Они рассчитывали хотя бы что-нибудь узнать о своей пассии.

Я был смущён и понял, что посвящён в тайну, о которой никто не догадывается. От этой мысли у меня перехватило дыхание. Я наслаждался своей новой ролью.

Когда я вечером позвонил в дверь своей квартиры, служанка сообщила мне, лукаво улыбувшись: «Девушка уже ждёт вас».

Господи, этого ещё не хватало. Это же может вызвать у кого-то определённые подозрения. А так как Елизавета Дмитриева приходила ко мне одно время почти ежедневно, то эти подозрения могли усугубиться. Во время своих посещений она сбивчиво рассказывала о себе, о своих печалях, не могла достаточно хорошо прочесть стихи. Утешить её было довольно сложно. Её самой большой ошибкой была ненасытность и чрезмерная уступчивость. Очень скоро мне удалось выяснить, что литературный успех Черубины де Габриак и, прежде всего, её великолепных стихов, является заслугой не одной Дмитриевой, а плодом деятельности нескольких человек, некоего «акционерного общества». Но кто эти акционеры?

В некотором отношении я был обманутым лгуном. Эгоцентричность Дмитриевой не оставляла мне никакой надежды на благосклонность очаровательной Лидии. Елизавета Ивановна ни с кем не хотела меня делить. Для меня, двадцатитрёхлетнего молодого человека, было большим соблазном стать соучастником тайны, которая будоражила весь Петербург.

При первом посещении она сидела в кресле, обёрнутая в красивую персидскую шаль. Слегка покраснев, она протянула мне лист бумаги со «Стихами Черубины де Габриак», коих Маковский получил великое множество. То были очень нежные, слегка грустные стихи, написанные в искусной манере Черубины.

Замечу, что жила она трудно. Её дружеские отношения с мужчинами ничем хорошим не заканчивались. В конце она чувствовала себя обманутой и разочарованной, возможно от того, что её поэтическая одержимость никем не разделялась. Она жаловалась на Гумилёва, который клялся в Коктебеле взять её в жёны. С ним она вернулась в Петербург, изменив, таким образом, Волошину. В Петербурге Гумилёв бесцеремонно оттолкнул её от себя.

– Пошли бы сейчас за него замуж?

– Не раздумывая.

Стало быть, она всё ещё его любила. Я чувствовал себя обязанным поддерживать её, и твердо верил, что она примет любую помощь. По её стихам было видно, как она страдает и насколько беспомощна. Я понимал это так, что «страдает» её героиня, Черубина де Габриак. А сама Дмитриева?

Дело в том, что между Черубиной и Дмитриевой была существенная, вполне осязаемая разница. Стихи одной были мало похожи на

стихи другой. Такое бывает при раздвоении личности. Возможно ли это?

Как бы странно это не звучало, но факты свидетельствовали о том, что внутри Дмитриевой уживалось два поэтических начала. При таких удивительных способностях, её ожидало большое будущее. Нельзя ли было одним разом примирить обоих – и Дмитриеву, и Гумилёва? Я давно знал, что мой друг Гуми хочет обзавестись семьёй, чтобы, наконец-то, прочно стать на ноги. И я решил свести их.

Мы каждый день встречались в редакции, и однажды, улучшив момент, когда мы остались одни, я сказал:

– Ты должен жениться!

– На ком?

– На Дмитриевой!

–?

– Как я до этого додумался? Вы будете такой же чудесной парой, как Роберт Браунинг⁷ со своей Елизаветой – этот бессмертный поэтический тандем. Ты должен жениться на Дмитриевой. Только истинная поэтесса сможет тебя понять. Только твоими усилиями она сможет в поэзии достигнуть значительных высот.

Он пожал плечами.

– Почему, именно, на Дмитриевой?

Я уловил заинтересованность в его интонации.

– Кроме всего, она прекрасная женщина, ну а во-вторых, ты же обещал на ней жениться. Гумилёв вспыхнул.

– Кто это сказал?

Я успокоил его. Мы долго говорили о её стихах, которые мне безумно нравились, и постепенно перешли на личные качества Дмитриевой.

– Значит ли это, что и ты был в интимных отношениях с этой... с этой дамой?

Я громко рассмеялся. Раз ревнует, значит, она ему не безразлична. Да нет же, это исключено. Дмитриева всё ещё любит его. И только его. Он должен с ней поговорить. И тогда он убедится, что лучшей жены ему не найти

– А как же Волошин?

Она же жила у него в Коктебеле. Они постоянно сражались за обладание ею. Я попытался его успокоить: для Волошина с его антропософией эти отношения носили исключительно платонический характер. Им надо объясниться. И в финансовом отношении это было бы здорово: она – учительница и он – писатель могли бы в Петербурге иметь приличную квартиру. Она бы заботилась о нём во всех отношениях. Это нужно, прежде всего, ему.

Он вроде бы со мной согласился. Я ликовал, ибо объяснение должно было состояться в доме очаровательной Лидочки Брюлловой. После примирения, в коем я не сомневался, возникли бы сразу две пары. Я постарался как можно быстрее договориться о встрече.

Мы договорились по телефону встретиться на следующий день до обеда.

Мы приехали. Нас уже ждали. Дмитриева была в темно-зеленом бархатном платье, которое ей очень шло. Красные пятна на лице выдавали крайнее возбуждение. Красиво сервированный стол был как бы рассчитан на примирение. Лидия Брюллова, одетая в чёрное шелковое платье, радушно поздоровалась с нами.

Но что это? Небрежной, я бы сказал, вызывающей походкой Гумилёв приблизился к обеим женщинам. «Мадмуазель, – произнёс он презрительно, даже не поздоровавшись с ними, – мадмуазель, вы распространяете ложные слухи, что я будто бы хочу на вас жениться. Запомните, вы были моей любовницей. А на таких не женятся. Это всё, что я хотел вам сказать»

За этим последовал небрежно-надменный кивок Гумилёва, после которого он повернулся к женщинам спиной и направился к двери. Я был обескуражен грубостью моего приятеля. Но мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я быстро попрощался и обещал позвонить. Дмитриеву после этого я больше никогда не видел. Она не звонила, не писала. Она просто исчезла...

Это была ужасная, совершенно непонятная выходка Гумилёва. По дороге домой мы не обмолвились ни словом. Я был взбешён и глубоко разочарован в своём друге. Дома я попытался привлечь его к ответу. Усмехнувшись, он заявил, что всё было сделано правильно, что с такими женщинами только так и поступают. Я сказал, что это немилосердно, что он унизил Дмитриеву в присутствии посторонних.

– Увидишь, она отомстит тебе.

Он пожал плечами.

– Имеешь дело с женщинами, будь готов ко всему. «Волков бояться – в лес не ходить» гласит старая русская пословица.

Я подумал, что пословицам надо находить правильное применение.

Этот случай охладил наши с Гумилёвым отношения. Его брутальность покорила многих. Все рассматривали его поступок как оскорбляющий человеческое достоинство. Мои романтические представления о нём были поколеблены. С женщиной, которой ты когда-то обладал, так не поступают. Кроме всего, она всё ещё его любила, и в её лице он обрёл бы прекрасную спутницу жизни. Как можно было так жестоко поступить со своей бывшей возлюбленной?

Только не говорите, что это чисто русский феномен. Напротив,

именно русские в любви особенно чувствительны. Их лирика прекрасное тому подтверждение. Я думаю, что ни один народ не обладает такой нежной любовной поэзией, как этот. Не является исключением и поздняя лирика Гумилёва.

Как же истолковать эту ужасную выходку?

Один из лучших лирических поэтов России, Фёдор Иванович Тютчев, в одном из своих стихотворений предостерегает девушек не влюбляться в стихотворцев: «Твоей святыни не нарушив / поэта чистая рука, / но ненароком жизнь задушит / иль унесёт за облака».

В этом что-то есть. Любил ли Пигмалион свою статую или же он любил Галатею? Трудно сказать. Мы имеем здесь дело с внутренней раздвоенностью творческой личности. Нам это знакомо. Достаточно вспомнить молодого Гёте и его несчастную Фредерику. Самые красивые его стихи имеют трагическую концовку.

Многое определялось временем, в котором мы тогда жили. Одна умная шведка сказала мне в самый разгар первой мировой войны: «Это должно было случиться. Танго и тустеп подтолкнули нас к этому несчастью».

То было время беззаботности и маскарада, время быющей через край духовной фальши. Мы, по-видимому, не отдавали себе отчёта, сколь ненадёжными были наши убеждения. Мы продолжали играть, и точкой приложения была наша душа. Одним из слов, подвергавшимся постоянным насмешкам – как, впрочем, и сегодня – было «преданность». Это считалось старомодным и патриархальным. Сюда следует также отнести такие слова, как «благодарность», «самопожертвование» – все те слова, которые когда-то входили в понятие «добродетель». Странно и грустно.

Мы были беззаботны, но относились, к настоящим ценностям серьёзно. Если бы не постоянный страх стать посмешищем для окружающих. Сами того не понимая, мы пользовались страхом, ставшим нашей второй натурой.

В таких условиях Дмитриева отдалась своему вовсе не соблазнительному обольстителю, который навязал ей роль Черубины де Габриак. И она стала ею. Случилось то, что должно было случиться: она стала одной в двух лицах: Черубиной де Габриак и Елизаветой Дмитриевой. Не удивительно, что эта затея, в конце концов, потерпела фиаско.

Мне кажется, что я давно уже не был единственным хранителем загадки Черубины де Габриак. Слухи о Дмитриевой ходили и раньше. Слишком многие были посвящены в эту историю. Среди них – Волошин и Лидия Брюллова. Не исключено, что сама Дмитриева в минуту отчаяния рассказала ещё кому-нибудь о своей поэтической тайне.

Однажды Сергей Маковский, – это было в редакции «Аполлона» – собладовавший обычно дистанцию в отношениях с сотрудниками, подсел

ко мне и к Дмитриевой и вовлѣк её в доверительную беседу. Об этом разговоре он в дальнейшем забыл или вытеснил из своей памяти, но факт остаётся фактом, что в тот вечер он долго беседовал с поэтессой, смущение которой в процессе беседы трудно было скрыть. Он попросил её прочесть что-нибудь. Это было стихотворение о любви. Он похвалил её и спросил с лёгкой иронией, что по её мнению есть любовь.

Наша беседа, в которую и я был вовлечён, приняла безысходный характер. Мы говорили о бесполезности любовных стихотворений, ибо уже Тютчев заметил, что «мысль изречённая есть ложь».

Посмотрев на собеседницу с некоторым превосходством, он прочёл несколько стихов Габриак. Дмитриева опустила голову, а Маковский продолжал играть свою любимую роль холодного, несколько высокомерного, элегантного петербуржца.

Через шесть недель – это произошло после смерти Анненкова – ползли слухи. Слухи как слухи. Они возникают и исчезают. И только один всевышний знает, что от этого остаётся. И мировая история основывается иногда на слухах. Но всё это со временем превращается в прах. Но иногда человек распространяет слухи, не задумываясь о последствиях.

Один из наших сотрудников – Александр Яковлевич Головин имел огромное ателье на самой верхотуре Марининского театра. Он был не только портретистом огромного значения, но и театральным художником. Головин захотел написать групповой портрет ведущих сотрудников «Аполлона». Предварительная работа заключалась в том, что он приглашал к себе каждый вечер по десять – двенадцать человек, присматривался к ним и прикидывал чисто визуально, как это будет выглядеть композиционно.

Однажды, уже после отвратительной сцены в доме Лидии Брюлловой, мы вместе со Зноско-Боровским ужинали в «Славянском базаре». Мы должны были после посещения Головина поехать в редакцию, чтобы обсудить содержание очередного номера «Аполлона». Мы хотели посвятить номер целиком немецким литераторам. Рукописи А. Шницлера и Г. Гауптманна мы уже получили. Кроме этого мы хотели пригласить к участию в журнале Г. Гофманшталя, Р. Борхардта, Ф. Гундольфа и Эрнста Гарде. Зноско пошёл звонить Маковскому, чтобы узнать на месте ли он. Вернулся Зноско расстроенным: случилось ужасное, Волошин дал пощёчину Гумилёву. Сергей Константинович просил нас немедленно приехать в редакцию.

Маковский был вне себя. Он рассказал, что все встретились у Головина. Художника куда-то позвали, и тогда присутствующие стали проливаться по ателье.

– Я прохаживался с Волошиным, который как всегда тяжело дышал. И

когда мы проходили мимо Гумилёва, Макс набросился на него и дал ему два раза по физиономии. Гумилёв в гневе вызвал Волошина на дуэль.

Я испугался. В противоположность к остальным я знал, что за этим кроется. То была месть Дмитриевой. Она, по-видимому, пожаловалась своему другу Волошину, с которым она была близка и тот, всё ещё имея зуб на Гумилёва за его летние проделки, вздул его.

Кроме меня никто понятия не имел, что за этим скандалом стоит тень Черубины де Габриак. Имел ли я право раскрыться? Нет, не имел. Ведь я совершенно случайно попал в тенёта, состоящие из печальной красоты и игры воображения.

Гумилёв попросил Кузмина⁸ и Зноско быть его секундантами. Секундантами Волошина были граф Алексей Толстой и князь А. К. Шервашидзе – ученик Головина – художник, график и театральный деятель. Секунданты долго советовались, т.к. случай был совершенно непонятным. В то же время всем было ясно, что причиной ссоры была женщина. Многие были посвящены в крымские события того лета. Все попытки уговорить Гумилёва не имели успеха. Он кричал и грозился убить обидчика. Слава Богу, ничего трагичного на дуэли не произошло. На поле боя кроме одной галоши ничего не нашли. Противники разошлись, так и не примирившись. Зноско и Кузмин посвятили меня во все подробности этой ссоры. Имя Черубины де Габриак при этом не упоминалось.

Однажды Кузмин отвёл меня в сторону и спросил, не мог бы я ему рассказать что-нибудь о Черубине де Габриак. Я ответил, что мог бы, но обещал молчать. Кузмин спросил, буду ли я и дальше упорствовать, если он без обиняков скажет мне, что Дмитриева сочиняла стихи Черубины де Габриак по инициативе и при непосредственном участии Волошина.

Я возразил: дело зашло так далеко, что было бы уместно эту игру прекратить, дабы не вызвать новую беду. Пусть он позвонит Дмитриевой и скажет от моего имени, что все уже всё знают, и пусть она бистренько пойдёт к Маковскому и обо всём ему расскажет.

Кузмин пошёл сначала к Маковскому и только после этого позвонил Дмитриевой. Вся перепуганная она побежала в редакцию, чтобы исповедаться. После этого разговора она покинула Петербург. Её перевели по службе в провинцию, и никто так и не узнал куда.

Спустя месяц в «Аполлоне» вышли стихи таинственной Черубины де Габриак, ставшей тревожным знаком умирающего символизма. Женщина эта долгое время сводила с ума целую редакцию. Книга вышла с благосклонным предисловием редактора и в прекрасном оформлении Евгения Лансере⁹.

Отчего Максимилиан Волошин – поэт и оккультист придумал эту

жуткую мистификацию до сих пор не ясно. Спустя много лет Марина Цветаева сообщила, что Волошин подбивал её на подобную авантюру с Брюсовым – редактором московского журнала «Весы». И в этом случае глубинные мотивы этих намерений остались не выясненными.

После описанных событий наши отношения с Волошиным несколько остыли, но он до конца оставался одним из авторов «Аполлона».

¹ С.К.Маковский (1878-1962) – поэт, искусствовед, редактор журнала «Аполлон».

² Барон Н. Н. фон. Врангель (1880-1915) – искусствовед, соредактор «Аполлона».

³ Е. А. Зноско-Боровский (1884-1954) – писатель, шахматист, секретарь журнала «Аполлон».

⁴ С. А. Ауслендер (1886-1943) – прозаик, племянник М.А. Кузмина.

⁵ Вячеслав Иванов (1866-1949) – поэт, переводчик, философ, знаток античности.

⁶ В. К. Шварсалон (1890-1920) – мемуаристка, третья жена Вячеслава Иванова.

⁷ Р. Браунинг (1812-1889) – английский поэт.

⁸ М. А. Кузмин (1872-1936) – поэт, писатель, композитор, критик.

⁹ Е.Е. Лансере (1875-1946), художник-график.

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

С польского

Владислав Шленгель

ПАМЯТНИК

Героям – поэмы, гимны!
Дань памяти воздадим мы.
На пьедестале вечном
гранитом увековечим.
Медаль и почёт – во славу,
что сохранили державу.
Впрессуем хвалу за смелость,
за юношескую зрелость.
Останутся жить легенды,
книги и киноленты,
о героизме и силе
тех, кто уснул в могиле.
Миф затвердеет навечно
в памяти человечьей.

* * *

Но вот и другая тема,
не для бронзы поэма.
Не сберегут столетья
тех, кого нет на свете...
Мать была робкой? Едва ли.
об этом родные знали.
Ссорилась, стыла в печали
лихих семейных баталий.
Делала всё, что могла.

Но всё же – она была...
Красива? Скорее мила,
с годами вес набрала.
И никогда не лгала...
Но всё же – она была.
В каждом углу её след,
остался на много лет:
её улыбка и взгляд
за каждым шагом следят.
И пусто стало кругом,
сиротливо скучает Дом, –
им она управляла здраво.
Теперь её больше нет.
(родом она из местечка
под Варшавой!)
Мужа из мастерской ждала
и сына – хоть у него дела.
В комнате убиралась с утра
(стирала, воду несла со двора).
Бывала по праздникам весела.
*Но всё же – она была,
да, была...*

* * *

Что есть Человек? Неважно,
заметит его не каждый.
Для Европы, для Мира – соринка,
в детской книжке картинка.
Велико ли дело – её труды:
стряпать, шить, наносить воды...
Зябко взяться за ручку теперь,
чтоб толкнуть холодную дверь,
в комнату или в сенцы,
с запахом супа и полотенца,
с уютом, с домашним теплом,
с привычным родным бараклом.
Так неприметно жила!
Но всё же – она была...

* * *

И вот её оторвали
от очага, от плиты,
суп не успела...
Из кухонной духоты,
забрали, не пощадили,
убили!..
Муж вернётся домой
из своей мастерской.
Не усидит на месте.
Огонь не горит под жестью,
полотенце пылится в углу,
посуда лежит на полу,
не выстираны рубашки...
Возьмётся за голову,
тяжко!
Теперь её больше нет...
А сколько ей было лет?..
Хлеб пожует,
съест холодного супа.
Дальше ждать бессмысленно, –
глупо.
Зачем идти на работу?
в горле скребёт зевота,
рвётся наружу месть...

* * *

Сын вернётся, захочет есть,
приляжет в ботинках грязных,
вздрыгнет перед боязнью,
поведёт глазами вокруг, –
а вдруг...
Вот матери старое фото,
сказать оно хочет что-то...
«Годы впустую растратили!»
*Лишь память –
Памятник Матери!*

Сидиша

Ицик Мангер

БАЛЛАДА О БЕЛОМ ХЛЕБЕ

Мать у окошка в изодранной шали,
вечер туманит морозные дали.

Всей пятернёю высохших пальцев,
гладит головки деток-страдальцев.

Луна представляется белым хлебом,
их дразнит она из ночного неба.

К луне взывают матери руки, –
молитвенным стоном рыдают звуки:

«О, Хлеб Святой! Опустился бы вниз ты,
и поддержал в них желание жизни,

детки мои уж скелетами стали,
духом они окончательно пали!»

Луна стоит над окнами сизыми, –
детям видится сытости призраком, –

белым душистым большим караваем.
И дети с улыбками умирают...

Вот уж луна укрывается в небе.
Память о ней, – это Память о хлебе.

А мать в слезах задыхается в шали:
«Господь! За что меня так наказали?»

Не только о детях скорбь её вечна,
но и о лунном хлебе беспечном.

С иврита

Саул Черниковский

ВЕСНА

Нашей встречи весна, как природа весной,
родилась в старом парке.
Здесь всю ночь до утра обнимались с тобой,
целовались мы жарко.

Ветер замер, природа до самых глубин
с нами в связи интимной.
И сердца наши бились, сливаясь в один
ритм весеннего гимна.

Всё пропитано свежей, душистой листвой,
в ней любовный источник.
Нашей жизни весна, как природа весной,
расцвела этой ночью.

С французского

Жан Кейрол

НАДПИСЬ НА СТЕНЕ

Я – собственник той тишины,
что тенью робкого звука,
во мне поселила веру
в горечь французского хлеба.

Я – собственник возвращенья
к закрытой наглухо двери...
Кто на дворе горлопанит?
Кто распевает о мире?

Землю питают рассветы
заревом красным восхода...
Я – собственник грусти неба,
в камни влюблённого вечно.

НОРА ГАЙДУКОВА

С испанского

Альфонсина Сторни

ЖИЗНЬ

Мои нервы сошли с ума,
В моих жилах пенится кровь.
С губ слетают любви слова, –
Радость вновь оживших цветов.

Я смеяться опять могу,
Прочь отбросив старую боль.
Я играю на том лугу,
А не ты играешь со мной.

Мир гармоний открыт сейчас,
Я вибрирую вместе с ним,
Волшебством незримым томим.

Крылья ветра как в первый раз
Я ловлю в открытом окне,
И Весна приходит ко мне.

ПРОЩАЙ!

Ах, ушедшие вещи, нет, не вернуться.
Как прошедшие дни не воскреснут вовек.
И разбитая ваза, лишь горстка стекляшек.
Только пыль остается, где был человек...

Нерасцветшим бутонам не справиться с ветром,
Что сорвет их и бросит, не дав расцвести.
Дни бесцельных скитаний, томящие скукой,
Как плавник одиночества в мутной воде.

Что нам делать с собой, когда все, что мы любим,
Превращается в тлен и должно умереть.
Сколько б не было в сердце безумных желаний,
Тень погасит надежду, так будет и впредь.

Что ж тогда? Исчезают сладчайшие грезы.
Растворится во времени радости свет.
О, погибшие вещи, они не вернуться,
Сколько их не зови, лишь молчанье в ответ!..

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

С немецкого

Генрих Гейне

ПРИНЦЕССА СУББОТА

Видим мы в арабских сказках
Заколдованного принца;
Иногда прекрасный облик
Он обратно получает,

И становится на время
Волосатый монстр – принцем.
Разодет и разукрашен,
Держит флейту он в руках.

Но проходит срок заклатья,
И мы видим, как внезапно
Королевский отпрыск снова
Волосами обрастает.

Одного такого принца,
Воспеваю я, Израиль
Называется он. Ведьмой
Превращён он был в собаку.

Мысли у него собачьи,
И шныряет всю неделю
Он по грязным подворотням,
На потеху беспризорным.

Но по пятницам, под вечер,
Колдовство вдруг пропадает,
И становится собака
Человеком в этот миг.

Благородны чувства принца,
Благородны ум и сердце.
Чисто, празднично одетый,
Он вступает в отчий дом.

«Здравствуй, долгожданный, царский
Моего отца дворец.
Я целую столб у входа,
В пышный Якова шатёр».

Вдруг по дому пробегает
Шум таинственный и ветер,
И невидимый хозяин
Дышит жутко в тишине.

Тихо! Только сенешаль
(Проще, служка в синагоге)
Прыгает то вверх, то вниз,
Зажигая лампы в доме.

Как отрадно золотые
Здесь светильники сияют!
И вокруг бимы* пылают
Ярко свечи на перилах.

Пред ковчегом, где хранятся
Свитки Торы за завесой
Из блистающего шёлка
С драгоценными камнями –

Там стоит уже у пульта,
В чёрный плащик наряжённый,
Человечек элегантный, –
Это кантор синагоги.

Суетливо потирает,
То висок он свой, то шею,
Демонстрируя при этом
Руку белую свою.

Он тихонько напевает,
А потом всё громче, громче,
И звучит затем, ликуя,
«Лехо дауди ликрас калэ!**»

Лехо дауди ликрас калэ –
Ты приди скорей любимый,
Ждёт давно тебя невеста,
Чтоб открыть лицо смущённо».

Эту свадебную песню,
Сочинил поэт великий,
Всем известный миннезингер,
Дон Иегуда бен Галеви.***

Он прославил в песне свадьбу,
Брак Израиля с Субботой,
Тихой госпожой принцессой,
Красоты цветом прекрасным.

В ней, жемчужине Востока,
Больше прелести, чем даже
У самой царицы Савской,
У подружки Соломона.

Эфиопка эта тщетно
Колко умничать пыталась,
И загадками своими
Только скуку наводила.

Наша тихая Суббота –
Воплощение покоя,
И принцесса ненавидит
Споры, ссоры и дебаты,

И не нравится ей также
Показной нелепый пафос,
Пафос громких декламаций,
Вид распущенных волос.

Скромно тихая принцесса
Косы под чепцом скрывает,
Стройная, как мирт цветущий,
Смотрит кротко, как газель.

И любимому принцесса,
Все улады разрешает
В этот день – «Лишь не кури!
Ведь сегодня день субботный.

Но взамен сегодня в полдень
ты услышишь дивный запах,
Запах сказочного блюда –
Будешь кушать чолнт сегодня!»

Чолнт, прекрасный дар Господень,
Сын Элизиума ты !****
Так его воспел бы Шиллер,
Если б мог он чолнт отведать.

Чолнт – божественное блюдо.
Бог когда-то Моисея
Научил его готовить
На горе святой Синая,

Где Всевышний в то же время
Дал нам всем основы веры,
Дал и заповедей десять
В грозном зареве зарницы.

Чолнт амброзией кошерной
Дан нам Богом справедливым,
Это хлеб блаженный рая,
И в сравненье с этим блюдом

Просто мерзкие помои,
Та амброзия, что ели
Боги лживые Эллады,
Маскированные черти.

Съест свой чолнт наш принц, довольно
Расстегнёт жилетку; ярко
Заблестят глаза, и скажет
Он с блаженною улыбкой:

«То не шум ли Иордана?
Иль источника журчанье
Между пальмами Бет-Эля,
Где верблюды отдыхают?»

Слышу ль звон я колокольцев?
Может быть баранье стадо
Гонит вниз пастух под вечер
С гор пустынных Гилеада?»

Но прекрасный день проходит,
Всё длинней деревьев тени,
И приходит превращенья
Горький час, – и принц вздыхает.

Кажется ему, что в сердце
Ледяные пальцы ведьмы
Впились и грозят кошмаром
Превращения в собаку.

Подаёт принцесса принцу
Нард в шкатулке золочёной,
Медленно вдыхая, хочет
Вновь вкусить он чудный запах.

А ещё подносит принцу
Госпожа прощальный кубок.
Жадно пьёт он; остаются,
В кубке только две-три капли.

Ими стол он окропляет,
А потом берёт он свечку,
И во влагу опускает;
Вмиг свеча шипит и гаснет.

Примечания:

* *Бима* – возвышение в синагоге для
публичного чтения Торы и ритуальных песнопений.

** *Лехо дауди ликрас калэ – иди, возлюбленный,
навстречу невесте.* (арам.)

*** *Иегуда бен Галеви (Иехуда ха-Леви) – еврейский
поэт и философ (1075 – 1141) Гейне ошибся.*

*В действительности автором этого
произведения является каббалист и поэт – мистик
Шломо бен Моше ха-Леви Алкабец (1505 – 1584).*

**** *Гейне пародирует первые строки оды Шиллера
«К радости»*

ИЗ ДНЕВНИКА

С немецкого

Рут Андреас - Фридрих

(Окончание Начало см. в альманахах «До и после» №№ 12 и 12+1)

Берлин. Суббота, 6 декабря 1941 г.

«Если тебя нет дома, они уходят! – говорит фрау Розенталь. – Всё хорошо, если тебя нет дома».

Но когда-нибудь надо быть дома. Нельзя всегда спать на чужих диванах, бесцельно шататься по улицам или сидеть в затхлом кинотеатре. Надо иногда полить дома цветы, постирать бельё, надо... Каждому надо время от времени почувствовать, что он не бездомный. Когда Маргот Розенталь отправляется в своё вечернее путешествие, она спарывает жёлтую звезду со своего пиджака. А утром, перед возвращением домой, опять прикрепляет её на грудь.

Так делают все с тех пор, как неписанный закон запретил арийцам любое общение с евреями.

Вчера вечером Маргот не пришла к нам. Несмотря на то, что мы точно договорились.

Надеюсь, что с ней не произошло несчастья.

Берлин. Воскресенье, 7 декабря 1941 г.

Андрик утром пошёл к ней. Звонил, стучал: шесть раз, десять, двадцать... Напрасно. Мёртвая тишина. Никакого движения, ни звука. Телефон не отвечает. Попробуем завтра ещё раз.

Берлин. Понедельник, 8 декабря 1941 г.

«С первого этажа? Вы имеете в виду еврейку? – говорит портье. – Они её забрали. Ещё позавчера. Около шести». Потрясённые, идём домой. «Япония объявила войну США и Англии», – кричат продавцы газет. Мы их едва слышим. Нам не до этого. Сейчас нас интересует одно: куда её отправили?

Берлин. Среда, 24 декабря 1941г.

Её отправили в гетто возле Ландгута. Вместе с девятыюстами другими несчастными. Сегодня, в рождественский вечер, пришло её первое письмо. «Пришлите нам еду. Мы голодаем», – написано в нём. «Не забывайте меня» – написано в нём. – Я плачу целый день».

Не должно быть никаких рождественских ёлок, пока на свете есть люди, которые целый день должны плакать. Через 8 дней начнётся четвёртый год войны. Десятый год нашего государственного антисемитизма.

Берлин. Понедельник, 23 февраля 1942г.

С тех пор, как Маргот Розенталь сидит в гетто Грюссау, мы собираем продуктовые карточки, чтобы послать ей продукты.

«О век, о наука! Жизнь – сплошное удовольствие», – стонет Андрик и хватается за голову.

Перед нами сидит доктор Якоб. Наш зубной врач из лучших дней. Теперь он носит звезду и три месяца старается «крестить своих прародителей». «Акт ариизации «называют процесс, когда еврей пытается доказать, что его родители – совсем не его родители. По крайней мере, его отец.

Никогда до сих пор не было столько нарушений супружеской верности. И столько дочерей и сыновей, готовых это клятвенно утверждать. Здесь речь идёт не о супружеской измене, а о подлинном отцовстве. Трое из нашей компании подтвердили это под присягой у нотариуса. Что зубной врач Якоб нисколько не похож ни на своих родителей, ни на братьев и сестёр. Родители с другими детьми много лет назад уехали в Палестину. Кто спрашивает там о сходстве? А здесь спрашивают. Ведомство расовых исследований горячо интересуется семейными фотографиями. Фотографиями семьи Якоб. Чем больше, тем лучше. Мы роемся в наших ящиках. Из пригодных нашлись только фотографии семьи Соломон. Брат умер. Сестра после прихода к власти нацистов уехала в Америку. Они не обидятся на это.

Ведомство расовых исследований – научный институт. Он работает пунктуально и основательно. 23 измерения ушей. Расстояние от челюсти до носа. От носа до глаз. Высота лба. Сегодня пришло заключение: «Прошение отклонено, т.к. выявлено явное семейное сходство между просителем и фотографиями брата и сестры». О, век! О, наука! О, дорогая семья Соломон! «Это означает полную катастрофу для меня и моей семьи, – говорит доктор Якоб. – Вот фотографии, – доктор Якоб достаёт их из папки. – Они мне уже не нужны». Перед уходом он задерживается. «Если вы сможете нас навестить»... «Само собой, само собой», – заикаясь, говорим мы. Нам неописуемо стыдно, что мы арийцы.

Берлин. Среда, 8 апреля 1942г.

Мы собираем карточки. Мы навещаем. Сегодня дядю Генриха. Завтра тётю Иоганну. Хорошо, что Хайке (дочь автора) помогает мне. С каждым днём сгущаются тучи над головами оставшихся евреев. Те, кому повезло остаться жить в своей квартире, делят её с другими, менее счастливыми.

Три семьи в трёх комнатах. Толкотня в ванной, теснота в кухне...

Берлин. Четверг, 30 апреля 1942г.

«Прочти это», – говорит Андрик, входя в комнату, и кладёт мне на стол листок папиросной бумаги. «Дорогие друзья, – разбираю я с трудом. – Беда обрушилась на меня со всею силой. Сегодня меня увозят из Грюссау. Куда?.. Я больна и не выдержу того, что мне предстоит.

Почему эта чаша не миновала меня? Последние 48 часов были душе-раздирающими.

450 человек. Рюкзак, свёрток с одеялом и столько вещей, сколько можешь нести. Я не могу нести ничего. Всё равно брошу по дороге. Это прощание с жизнью. Я плачу и плачу. Всего наилучшего и помните обо мне!» «Маргот Розенталь», – пролепетала я. Андрик кивнул:

«Опять прыжок в нирвану. Не первый и не последний. Это всегда больно, особенно, когда касается лично тебя. – Внезапно он вскочил и начал бегать по комнате. – Всё должно касаться нас, – проревел он гневно. – Всё, не только судьба знакомых. Завтра уйдёт Якоб. Послезавтра Тарновский. Но уходят и тысячи других. С которыми мы не знакомы. О которых мы ничего не знаем».

Он подошёл и обнял меня за плечи. Из соседней комнаты прибежала Хайке. «Почему вы кричите?» – спросила она. Я протянула ей письмо. «...и помните обо мне» – прочла она вполголоса. «Если мы будем помнить о ней, – начала она вдруг, – я имею в виду по-настоящему помнить, так, словно она живёт в нас... тогда...». «Тогда это станет ей настоящим памятником» – помог ей Андрик. Он подошёл к Хайке и нежно обнял её: «Вероятно, это единственное, что мы можем. Единственное, чему мы должны научиться».

Берлин. Пятница, 19 июля 1942г.

Постепенно, один за другим, они уходят. Срываются с надёжного берега в бушующий поток. Из наших четырнадцати дядей Генрихов и двадцати двух тётъ Иоганн остались лишь немногие. Теперь все продукты только по карточкам. Евреям перестали выдавать карточки почти на все продукты. Остались одни овощи.

Берлин. Среда, 2 декабря 1942г.

Большинство евреев скрывается. Идут ужасные слухи о тех, кого увезли. О массовых расстрелах, голодной смерти, пытках и отравлении газом. Никто не хочет добровольно так рисковать. Ускользнуть – единственное спасение. Весь круг наших друзей старается помочь, приютить у себя. Одну ночь мы, другую – вы. На долгое время нельзя, это подозрительно. Но частые приходы и уходы – тоже.

Семья Якоб покинула свой дом. Уже 14 дней живут они в заброшенном складе. По очереди один или два члена семьи спят на нашем узком диване. Петер Тарновский не выходит из дома. Не открывает никому дверь. Он погрузился в мир Канта, Гегеля и Шопенгауера. Он не может себе представить, что этот ужас с депортацией и уничтожением может коснуться его, прокурора, доктора права, офицера 1-й мировой войны, рыцаря железного креста, человека чести с головы до пят.

«Собирать карточки, собирать карточки, – настаивает Франк. – На завтра есть ночлег для двоих, на послезавтра – для троих. С 15 декабря будет надёжная квартира в Ланквице. Больные пойдут ко мне. Кому нужны врачебные справки, пусть обращаются ко мне или доктору Кюну. Он коммунист, фанатичный борец за своё дело. Он из другого круга, но когда надо, он всегда готов помочь».

Берлин. Среда, 30 декабря 1942г.

Мы собрали наши карточки, накрыли праздничный стол и поставили ёлку. Когда стемнело, пришли супруги Якоб, Эвелина, их дочь, и супруги Бернштейн, родители жены. Мы пели. Четырёхлетняя Эвелина широко открыв глаза, смотрела на ёлку.

«А я ела грушу, – сказала вдруг она. – Настоящую грушу!» В это время раздался стук в стенку. Очевидно кто-то забивал гвоздь. «Тсс: – прошептала Эвелина. – Теперь надо сидеть совсем тихо». Она села, сложив руки, на стул и напряжённо посмотрела на родителей. «Это ничего, Эвелина. Можешь спокойно говорить дальше, – сказала её мать и погладила по голове. Андрик отвернулся. Хайке отошла к ёлке. Я опустила глаза и не могла смотреть на наших гостей.

Берлин. Суббота, 6 февраля 1943г.

Ко дню рождения Гитлера Германия должна быть очищена от евреев. Склад, где скрывалась семья Якоб, заняла авторемонтная мастерская. Все наши диваны заняты.

Мы звоним по всему городу. «Не раньше, чем через неделю, – говорят нам. – Если бы один... – Но пять! Это исключено». «Разделитесь, – просит Андрик, – Это ведь ненадолго!».

«Мы останемся вместе!» – упорствует Якоб. «Мы останемся вместе!» – говорят Бернштейны.

Как воры, пробираются они каждую ночь в свою собственную квартиру. В одних носках. И боятся зажечь свет.

Берлин. Пятница, 12 февраля 1943г.

Ночью звонит телефон. «Мой зять арестован, – звучит дрожащий голос, – Мы так боимся!».

Это фрау Бернштейн. Я бужу Андрика и Хайке. Что делать? До утра – ничего.

Завтра попробуем что-нибудь узнать через знакомых.

Берлин. Суббота, 13 февраля 1942г.

В квартире Якоб никто не отвечает. Спрашивать жильцов мы боимся. Если бы фрау Бернштейн могла, она бы позвонила.

Берлин. Воскресенье, 14 февраля 1943г.

И сегодня фрау Бернштейн не позвонила. Наше беспокойство растёт всё больше.

Трижды были мы возле их дома. Их звонок не работает. С трудом нам удалось скрыться отсюда незамеченными.

Берлин. Понедельник, 15 февраля 1943г.

Придётся рискнуть. Больше ничего не остаётся. Во второй половине дня попробую поговорить с соседями. Надеюсь попасть на порядочных людей.

Берлин. Вторник, 16 февраля 1943г.

Мне открыла симпатичная дама. «Извините, скажите, пожалуйста, фрау Якоб дома?»

Она качает головой и плачет. «А она... она сегодня вернётся?» Она снова качает головой и тянет меня в комнату. «Она не придёт. Она никогда не придёт» – говорит она, вздыхая.

«А Бернштейны? А маленькая Эвелина?» – «Всех забрали. В субботу» В ужасе я опустилась на ближайший стул. Соседка села на стул напротив меня. «Вы подруга фрау Якоб?» – спросила она участливо. Я кивнула. «Это было мучительно. Так ужасно, что без слёз вспомнить об этом нельзя». «Расскажите, пожалуйста, – попросила я. – Может быть мы сможем чем-нибудь помочь?» «Помочь? Когда гестапо штурмует дом, как крепость? Взламывают дверной замок, перепиливают стальную задвижку. Кто тут может помочь? В девять утра у ворот остановился грузовик. Из него вы-

скочило шесть сотрудников. Взбежали наверх и начали стучать. Им не открыли. Они снова стали стучать. 10 минут давили на кнопку звонка. Потом они зашли ко мне. «Дома эти, напротив?», – резко спросили они. «Я не знаю», – пролепетала я. – Я знала. О Боже, я точно знала, что они дома. Все четверо.

Один из гестаповцев стал звонить по моему телефону. Я слышала звонок в их квартире. «У вас есть лестница?» – потребовал он. – Я кивнула. Они взяли лестницу и прислонили её возле окна кухни. Одно окно в их квартире было открыто. Но лестница не доставала до окна. Двух перекладин не хватало. «Проклятая банда!», – закричал коричневый. После этого начался штурм. Первая дверь, вторая дверь. Топоры и пилы.

«Боже, спаси их всех!», – молилась я про себя. Дверь была прочная. Но наконец она поддалась и упала в коридор. Через три минуты они спустились вниз. Все четверо. Один за другим. Они не разговаривали, они еле двигались. Как будто они уже мертвы.

Женщина напротив меня схватилась за голову: – Два часа они там сидели! Вы себе представляете? Боялись двинуться, боялись дышать! Сейчас они войдут... сейчас они войдут! И ребёнок! Ребёнок с ними...

«Она однажды ела грушу. Настоящую грушу...» – механически пробормотала я.

«Что Вы сказали?» «Так, ничего. Мне вспомнилось... – Я встала. – Надо попытаться узнать, что с ними. Если я что-нибудь узнаю, я Вам сообщу». Мы пожали друг другу руки.

«Меня зовут фрау Меерович, – сказала дама. Немного поколебавшись, она добавила – Мой муж тоже был еврей».

РАИСА ШИЛЛИМАТ

С немецкого

Франц Кафка

ШАКАЛЫ И АРАБЫ

Мы расположились на отдых в оазисе. Путешественники спали. Высокий и седой араб прошёл мимо меня – он ухаживал за верблюдами, и теперь направлялся к месту своего ночлега.

Я упал навзничь в траву – хотелось спать. Жалобный вой шакала вдали мешал заснуть. Я сел.

И что было так далеко, внезапно оказалось совсем рядом: матовым золотом сверкающие и тут же гаснущие глаза, худые тела, проворно и ритмично извивающиеся, словно под ударами плети – вокруг меня кишели шакалы.

Один из них подошёл сзади, протиснулся между моей рукой и туловищем, словно ему захотелось согреться. Прошмыгнул дальше, повернулся, стал прямо передо мной – без малого глаза в глаза – и обратился ко мне:

– Я самый старый шакал во всей округе. И я счастлив, что могу тебя приветствовать здесь. Мы ждали тебя так бесконечно долго, что я, совсем уж было, расстался с надеждой: моя мать ждала, мать её матери, и все матери до неё, включая самую мать всех шакалов. Поверь!

– Это меня удивляет, – сказал я, и тут же позабыл запалить приготовленные для костра дрова, дымом которых можно было отпугнуть шакалов, – просто удивительно слышать это, я ведь здесь совершенно случайно, проездом с крайнего севера. Ну и что же вы, шакалы, хотите?

Словно ободрённые моим, вероятно, слишком дружелюбным обращением, шакалы сомкнули круг теснее, фыркая, коротко задышали.

– Мы понимаем, – продолжал старейшина, – что ты с севера, именно на этом и зиждется наша надежда. Там есть ум, которого не найти здесь,

среди арабов. Из их бездушного высокомерия, ты ведь знаешь, не высесть ни искры разума. Они же, пренебрегая падалью, убивают зверей, чтобы их съесть!

– Не говори так громко, – сказал я, – арабы спят недалеко.

– Ты и в самом деле чужеземец, иначе тебе было бы известно, что, за всю историю существования, ни один шакал не боялся араба. Это мы должны их бояться? Разве нам мало лиха быть изгоями среди этого народа?

– Быть может, быть может, – согласился я, – не осмелюсь судить о том, от чего сам так далёк. Сдаётся мне, это очень старая вражда – она в крови, и прекратится она, скорее всего, только с последней каплей крови.

– Ты очень умён, – проговорил старый шакал, остальные же, высунув языки, задышали ещё чаще, но, тем не менее, продолжали стоять спокойно; их открытые пасти источали тяжёлый, временами переносимый только с крепко стиснутыми зубами запах.

– Ты очень умён, – повторил старейшина, – и то, что ты сказал, соответствует нашему старому учению. Мы выпустим из них кровь, и, тем самым, положим конец вражде.

– О! – воскликнул я эмоциональней, чем мне хотелось бы, – они ведь будут защищаться, они же перестреляют вас целыми стаями!

– А ведь ты нас неверно понимаешь, – вздохнул он, – как ни странно, всё присущее человеку не утратилось и на севере. Но ведь мы же... мы же не будем их убивать! В Ниле не наберётся столько воды, что бы нам потом как следует отмыться! Уже от одного взгляда на них живых мы пускаемся в бегство – туда, на свежий воздух! В пустыню, которая именно поэтому и есть наша родина!

И тут все шакалы вокруг – к которым, между тем, подтянулись издалека ещё и многие другие – опустили головы, положили их между передними лапами, потом начали очищать ими морды. Казалось, они хотели скрыть своё отвращение, которое было таким сильным, что мной овладело непреодолимое желание собрать все свои силы, прыгнуть как можно выше, и перескочить через их оцепление.

– Так что же вы собираетесь делать? – спросил я, намерившись встать, но это мне не удалось: два молодых зверя крепко вцепились сзади в мой сюртук и в рубаху. Меня вынуждали сидеть.

– Они держат твой шлейф, – серьёзно объяснил старый шакал, – тем самым, оказывая тебе почести.

– Отпустите меня! – восклицал я, обращаясь то к старому шакалу, то к молодняку.

– Конечно, отпустят, коль ты этого требуешь, – пообещал старый, – но это произойдёт не сию минуту. Согласно старинному обряду, они

крепко стиснули челюсти, и теперь будут разжимать их постепенно. А пока выслушай нашу просьбу.

– Своим поведением вы не очень-то расположили меня к этому, – заявил я.

– Не заставляй нас расплачиваться за нашу бестактность, – здесь он впервые прибегнул к естественно-жалобному тембру своего голоса, – мы всего лишь несчастные звери, у которых есть только зубы. Какие бы мы дела ни вершили, хорошие ли, плохие – единственное, что есть в нашем распоряжении для этого – только зубы.

– Ладно, чего ты хочешь? – спросил я, слегка смягчившись.

– Господин! – воскликнул он, и все шакалы завывли. Мне показалось, что где-то там, в дальнем далеке, зазвучала мелодия.

– Господин! Ты должен покончить с враждой, которая разобщила мир! По описанию наших стариков, ты выглядишь, как тот, кто придёт и сделает это. От этих людей мы хотим только покоя: воздуха, пригодного для дыхания и очищенных от них – до самого горизонта – просторов. Мы не хотим слышать жалобный крик забываемого арабом барашка – все звери должны естественно издыхать. Пусть никто не мешает нам выпивать до капли кровь павших животных и наводить после них чистоту – до самых белых костей. Чистоты! Мы хотим только чистоты! И ничего больше! – и тут все они, всхлипнув, зарыдали, – да как же ты, имеющий такое благородное сердце и такие превосходные внутренности, как же ты можешь выносить всё это? Их белое – гадость, их чёрное – гадость, их борода вызывает отвращение, увидишь уголок глаза – хочется плюнуть, а уж если они поднимут руку, то под ней разверзается преисподняя их подмышечной впадины! Только поэтому, о господин! Исключительно поэтому, дорогой господин, нам нужна помощь твоих всемогущих рук! Возьми своими такими всемогущими руками эти ножницы и перережь арабам глотки!

Тут же, повинувшись движению его головы, ко мне подошёл один из шакалов. На клыкe у него висели небольшие, покрытые старой ржавчиной портняжные ножницы...

– Ну вот, наконец-то, ножницы, и на этом конец! – воскликнул араб, проводник нашего каравана, который подкрался с подветренной стороны, и теперь поигрывал своим огромным кнотом.

Всё произошло молниеносно, но, несколько отскочив, шакалы всё-таки остановились, корчась в тесноте – стая зверей, сбившись, застыла, словно в жалком загоне для скота, окружённом блуждающими огнями.

– Вот, господин, ты всё слышал, ты стал свидетелем этого представ-

ления, – сказал араб и засмеялся весело, насколько позволяла ему при-
сущая его роду сдержанность.

– Так ты знаешь, чего хотят звери? – спросил я.

– Конечно, господин, – отвечал он, – это же известно всем: эти нож-
ницы кочуют вместе с нами по пустыне столь же давно, сколь существу-
ют арабы. Так будет до конца дней. Каждому европейцу они предлагают-
ся для великого свершения, ведь каждый европеец, в понимании зверей,
именно для этого и предназначен. Бессмысленную надежду лелеют ша-
калы, глупцы они, настоящие глупцы. Поэтому-то мы их и любим – это
же наши собаки, и они красивее ваших...

– Ты только посмотри – вдруг добавил он, – ночью один верблюдо-
пал, я велел его убрать.

Четверо мужчин принесли и бросили перед нами тяжёлую ношу. Не
успело мёртвое тело коснуться земли, как шакалы подали свои голоса.
Один за другим, на мгновенье приостанавливаясь, они бороздили зем-
лю брюхом, и, словно их против воли тянули на верёвке, подползали к
нам.

Они забыли об арабах, они забыли о ненависти – всё затмевающий
запах трупных испарений, исходящих от туши, завладел ими. И вот
уже один впился в шею, сразу же перекусив сонную артерию. Точно
небольшой насос, которым неистовство и безуспешно стараются пога-
сить сверхмощный пожар, вздрагивал и подёргивался каждый мускул
шакальского тела. Вскоре, облепив труп доверху, за работой было уже всё
зверье.

Вот тут-то караванщик и полосонул хлётким бичом сначала вдоль,
потом поперёк стаи. Шакалы подняли головы: то ли в полуопьянении, то
ли в полубессознательности. Они увидели, что перед ними стоят арабы
– почувствовали боль от кнута, отпрянули, потом отбежали чуть назад.
Верблюжья кровь растекалась, собиралась лужицами и душно парила.
Туша была во многих местах сильно изодрана.

Звери не смогли устоять, они опять были здесь. Проводник вновь
поднял кнут – я перехватил его руку.

– Ты прав, господин, – оставим их делать своё дело, а нам самое вре-
мя поднимать караван. Теперь ты видел их – великолепные звери, не
правда ли? Ах, как же они нас ненавидят!

ВАЛЕРИЙ РОЙЗЕНМАН
(1939 – 1979)

Москвич, учёный, успешный геолог-разведчик в Якутии, бард. С появлением на Алдане первых магнитофонов там определились два любимых автора-исполнителя. В погожие дни из одних раскрытых окон можно было слышать Высоцкого, из других – Валерия.

Погиб из-за ошибки медиков, сделавших ему прививку против энцефалита, не спросив, имел ли он когда-либо сотрясение мозга, с которым такая прививка несовместима.

Не стало талантливого, красивого человека... Остались его собственные песни и стихи, которые уже другие люди перекладывают на музыку:

*«...И лишь, собрав в ладонь зарю,
Сложив из красок хор,
Букет слезинок подарю
И поцелуй стихов».*

Отрывок из стихотворения В. Ройзенмана
8 марта 1963, к которому в 2005 написана музыка, автор
которой Наудерс (Австрия)

РОМАНС-НОКТЮРН

За продрогшей палаткой упала луна,¹
онким ногтем цепляясь за синь горизонта,
Острый профиль тайги пополам обломав,
Прокатилась звезда, что слеза беспризорная.
Как посметь не поспеть, – не догнать – загадать
Ту звезду, что за синим узором поникла?
Не вернуть, не найти никогда, никогда...
Никому, никому в «никогда» не проникнуть.
Запрокинув глаза, засыпает вода,

Не печали вопросами ласковость плеска,
Не узнать, не понять, как слепая беда
Окружила петлёю тумана белесого.
За продрогшей палаткой упала луна,
Тонким ногтем цепляясь за синь горизонта,
Острый профиль тайги пополам обломав,
Прокатилась звезда, что слеза беспризорная.

22 июня 1963, Алдан

КОГДА-ТО

Уносятся в пространство мысли, даты,
Уже приходит мой черёд,
И слово скорбное «когда-то»
В туманных образах встаёт.
Перебираю неудачи –
И вкупе этой не чета.
Да, в слово горькое «когда-то»
Уходишь ты – моя мечта.
Дороги солнечная скатерть
Лежит в страну небытия
И скоро в страшное «когда-то»
Исчезну, может быть, и я.

16 февраля 1963

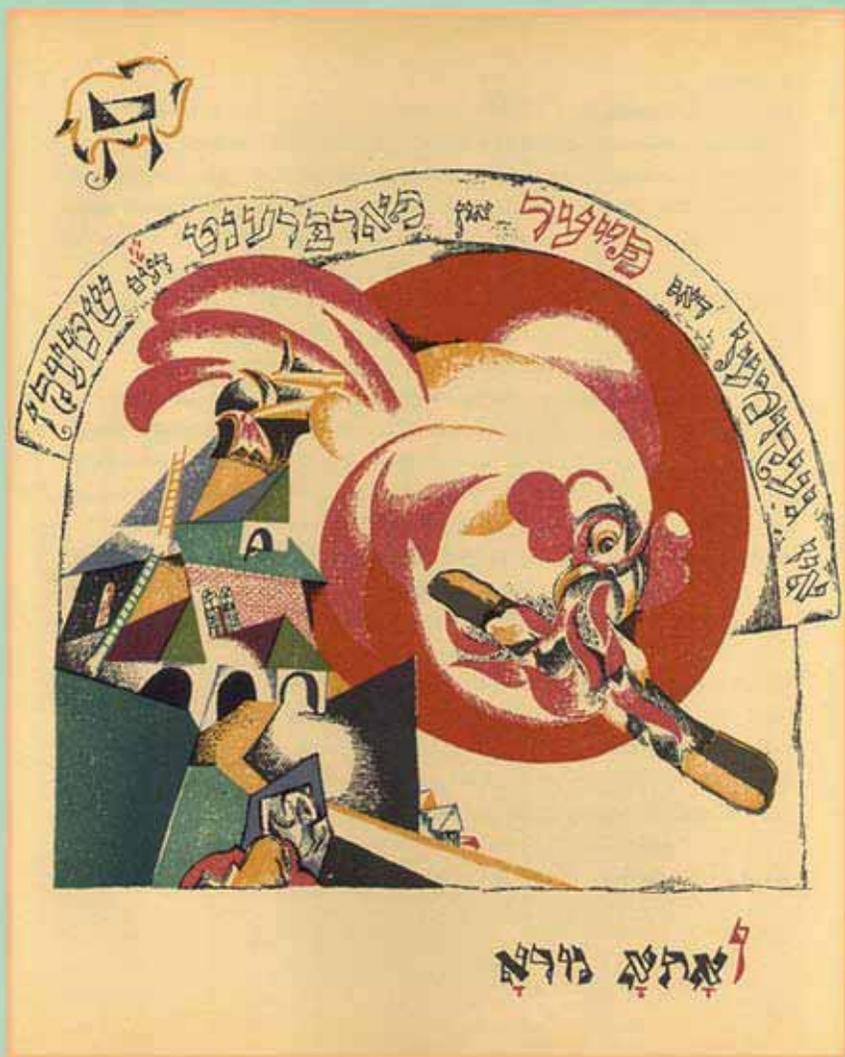
(Публикация Ф. Ройзенмана, Берлин)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Поэзия и проза

Анжелла Подольская	4
Карл Абрагам	19
Людмила Белоусова	21
Леонид Бердичевский	25
Дмитрий Борисов	33
Вера Федорова	46
Галина Фирсова	50
Нора Гайдукова	54
Елена Ямова	60
Давид Яновский	65
Инна Иохвидович	68
Игорь Коган	76
Альберт Леин	80
Генриетта Ляховицкая	87
Семён Лурье	90
Валерий Матэтский	94
Захар Мишин	98
Сергей Пышный	102
Ася Вайсберг-Процко	105
Любовь Рейнгач	107
Марк Шейнбаум	112
Антонина Шнайдер-Стремякова	116
Елена Зельгер	123
Владимир Сергеенко	127
Генрих Шмеркин	132
Михаил Верник	136
<i>Публицистика и эссеистика</i>	
Людмила Белоусова	146
Леонид Бердичевский	152
Галина Фирсова	159
Михаил Гордин	167

Регина Лихтман	172
Генриетта Ляховицкая	189
Марк Шейнбаум	195
<i>Новые переводы</i>	
Карл Абрагам	202
Леонид Бердичевский	215
Нора Гайдукова	220
Давид Яновский	222
Рут Андреас - Фридрих	227
Раиса Шиллимаат	233
<i>In Memoriam</i>	
Валерий Ройзенман	237



Ежегодный альманах клуба литературы и искусства
«До и После» при ZWST - Berlin. Выходит с 1997 года.